Э. ГОЛЛЕРБАХ

В. В. РОЗАНОВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Э. ГОЛЛЕРБАХ

В. В. РОЗАНОВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
ПЕТЕРБУРГ
1922

Э. ГОЛЛЕРБАХ

В. В. РОЗАНОВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

1976-YMCA-PRESS, Paris

Русская философия не богата самостоятельными мыслителями. Она не создала ни одной своеобразной системы мысли; ее не увлекали грандиозные метафизические сооружения с их логической несокрушимостью. И тем не менее, нельзя отрицать существования русской философии. Сквозь толщу „ленивых и нелюбопытных“ в России всегда пробивалась напряженная, волнующаяся мысль, тревожные искания, страстная жажда отвлеченной истины и житейской правды. Русская философия воплотилась не в научных трактатах, но в искусстве слова: широкой волной разлилась она в художественной литературе. Догматы русской философии облеклись в плоть и кровь живых образов. Всегда отзывчивая к насущным злободневным потребностям, наша литература была, вместе с тем, неизменно занята мыслью о вечном, непреходящем, о нетленных сокровищах духа и его вневременных запросах.

Художники слова, составляющие гордость и радость русской литературы, могут быть названы философами без философии. Другую группу составляют одинокие мечтатели, странники, юродивые, никому неведомые моралисты, имена которых забыты, затеряны. Григорий Сковорода один из немногих, избежавших забвения. К третьей группе можно отнести деятелей, стремившихся Запад связать с Востоком; они сумели сочетать богатства чужеземной культуры с исконными запросами русского духа; таков, например, Вл. Соловьев.

Писатель, которому посвящен этот очерк, не принадлежит ни к одной из перечисленных групп или, если угодно, принадлежит ко всем сразу. Вовсе не беллетрист по роду своих писаний, он является, однако, оригинальным стилистом, тонким художником слова; чуждый всякому морализированию, бесстраш-

ный отрицатель общепринятых этических принципов, он создал, тем не менее, целое религиозно-нравственное учение, новое не только по содержанию, но и по форме; наконец, совершенная им „переоценка ценностей“ открывает неведомые доселе возможности сближения Запада с Востоком на почве религиозного возрождения.

Нераздельное слияние „писательского и человеческого“ в творчестве В. В. Розанова делает его для нас особенно родным и сообщает ему интимное очарование. Каждая строка, упавшая с пера писателя, так „физиологична“, каждая мысль его насыщена таким глубоко „нутряным“ и ярко индивидуальным содержанием, что понять Розанова-писателя значит узнать Розанова-человека. В Розанове писатель и человек поясняют и дополняют друг друга. Вот почему изучать его жизнь нужно в свете его творчества. И вот почему в корне ошибочен формально-критический подход к Розанову... Его можно понять только „изнутри“, только психологический анализ может привести к постижению Розанова. Его „лицо“ и есть его „философия“. В творчестве его выразилось все своеобразие его изумительной души, в одних проявлениях чарующей нас, в других—заставляющей содрогаться.

Революция, произведенная Розановым в области религиозно-нравственных проблем, дает основание приравнять его к Ницше. Сравнение это вызывается не духовной близостью Розанова и Ницше, а только тем разительным переворотом в истории религиозно-философской мысли, который связан (в разное время и при разных условиях) с именами обоих писателей. Термин „русский Ницше“ был впервые применен к Розанову Д. С. Мережковским. В книге „Жизнь и творчество Л. Толстого и Достоевского“ Мережковский говорит о Розанове: „Когда этот мыслитель, при всех своих слабостях, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и может быть даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением, едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны

Церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей".

Розанов был мало знаком с учением Ницше и никогда им не интересовался.

Прозвище „русский Ницше" не казалось ему ни удачным, ни лестным.

Оттого, упоминая имя Ницше рядом с Розановым, мы принимаем это сравнение только, как трагический символ, но не как комментирующую параллель. Шаг за шагом прослеживая жизнь писателя, попытаемся понять сверхличное в свете индивидуального.

Духовная организация Розанова, его „лицо", отразившееся, как в зеркале, в его темах (и еще более в стиле), дает нам ключ к пониманию его творчества, бессистемного и разрозненного, но в н у т р е н н е стройного и цельного. Суб'ективизм Розанова не прием, не манера, но органическое свойство, непреодолимое и самодовлеющее, подобно тому принципу непосредственного созерцания, которым проникнуто все его мышление. Весь мятежный, весь хаотический, Розанов не может быть „упрощен" и „растолкован". Только в свете его собственного горения можно увидеть его единственный, ни на кого не похожий образ. „Каждая душа есть феникс, и каждая душа должна сгорать, а великий костер этих сгоревших душ образует пламя истории". Так говорит сам Розанов о творчестве („Около церковных стен", т. I).

I.

Василий Васильевич Розанов родился 20 апреля 1856 г. в городе Ветлуге, Костромской губ. Три года спустя семья Розановых переехала в Кострому, где и прошло раннее детство будущего писателя. Мать его вскоре овдовела; всегда занятая работою, она не могла уделить достаточно времени воспитанию детей. Маленький Вася рос в обстановке нужды и недовольства. Пенсия, получаемая матерью, составляла всего 300 р. в год, и эти деньги не покрывали даже самых скромных расходов. Семья не имела доброго влияния на ребенка, и дух его формировался вне сферы семейственности. Ростя и развиваясь одиноко, он не чувствовал опоры под ногами; в нем скоро развилось чувство слабости, бессилия, отчужденности. Нежности и любви не было ни вокруг него, ни в нем.

В „Уединенном“ Розанов всмоминает: „Когда мама моя умерла, то я только понял, что можно закурить папироску открыто. И сейчас закурил. Мне было 8 лет“. И еще знаменательное признание:—„Во всем нашем доме я не помню никогда улыбки“.

Огородные работы, в которых должен был участвовать маленький Розанов, превращались для него в каторжный труд, потому что его принуждали к нему „из под палки“, без единого ласкового слова, без улыбки. Старшие братья не дружили с ним и не помогали в работе.

В одном из писем к автору этих строк (26 авг. 1918 г.) Розанов рассказывает о своем детстве в следующих словах:

„Окончательная нищета настала, когда мы потеряли корову. До тех пор мы все пили молочко и были счастливы. Огород был большой. Гряды, картофель и поливка (безумно

трудная, 7 лет), потом рассаду. Но главное—(сбоку нарисованы окученные клубни картофеля) полка картофеля и поливка его, а еще носить навоз на гряды, когда подгибались от тяжести носилок ноги (колена). Вообще жизнь была физически страшно трудна, „рабоча“ и еще тут „начало учения“.

Были обширные парники. Я работал с Воскресенским, который принимал участие в нашем доме, был как бы вотчимом, и вот все заставлял работать, будучи таким противным. Он б. (был) нигилист-семинарист, „народник“, „базаровец“ („Отцы и дети“). Мама невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старою—бессильною—несчастною любовью. Он кончил семинарию, был живописец и недурной,—ездил в СПБ. в Академию Художеств. М. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели. Он впрочем меня порол за табак („вред“ куренья). Но „ничего не мог поделать“.

И вот коровка умерла. Она была похожа на мамашу и чуть ли тоже „не из роду Шишкиных“. Не сильная, она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал ее рогами к козлам или чему то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил и надавил: она упала на колени и я тотчас упал (шалость, страх).

Ужасно. И какой ужас: ведь—кормила, и зарезали.

О, о, о... печаль, судьба человеческая (нищета). А то все молочко и молочко. Давала 4—5 горшков. Черненькая—„как мамаша“.

Киселек. Сметанка. Творог. Сливочное масло. „Как все хорошо“. Масло в барашке к Рождеству.

Молоко я носил к соседям продавать. Как и малину, крыжовник и огурцы из парников. „Все слава Богу“—пока „коровка“.

„К чертам моего детства (младенчества) принадлежит: поглощенность воображением. Но это—не фантастика, а задум-

чивость. Мне кажется такого „задумчивого мальчика" никогда не было. Я „вечно думал", о чем—не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты.

Первые книги, прочитанные: „Путешествие Телемака" (вовсе не Фенелона), и „Гибель английского корабля Кенг", еще „Дальний Запад" (М. Рид? Купер?) и главное, самое главное: часть I-ая „Очерков из истории и народных сказаний" (Грубе?), начиная Финикияне, Сезострис, Суд над мертвыми, Алиас и Кир, Фемистокл, Поход Аргонавтов, Леонид и Фермопилы. Греков и римлян до поступления в гимназию я знал, как „5 пальцев" и совершенно с ними сроднился, благодаря этой переводно-немецкой книжке.

Она была без переплета, но вся цела, и лет пять была единственным моим чтением. Это единственное чтение, легшее на душу одиночным, не рассеянным впечатлением, страшно сохранило, сберегло душу. Оцеломудрило ее. Эта книга была моим Ангелом-Хранителем. Вечная благодарность прелестному Грубе".

В другом письме Розанов вспоминает о том, что ему приходилось лечить свою мать от женской болезни с помощью спринцовки, потому что, кроме него, некому было это делать. Может быть, в ту пору, впервые, хотя и в неясной форме, зародился в нем интерес к гениталиям и благоговейное отношение к ним. Рано пробудились в ребенке и черты автоэротизма.

Гимназическое образование Розанова началось в Симбирске. Будучи учеником 2-го и 3-го классов, он прочитал всего Бокля (особенно внимательно „Историю цивилизации в Англии"), Карла Фохта и Писарева, при чем составлял конспекты прочитанного. Увлечение материализмом привело его к ссоре со старшим братом, который издевался над Боклем и Писаревым. Однако этот период продолжался не долго. Вскоре Розанов перешел в Нижегородскую гимназию; там в 70-х годах также царила „Писаревщина" и ученики даже в разговорах старались подражать слогу Писарева. Но Розанов успел уже охладеть к своему прежнему кумиру.

Однажды в шестом классе он пришел к своему товарищу в гости, увидел у него том Писарева и захотел перечитать его; но все мысли писателя и самое изложение показались ему до того скучными и ненужными, что с этого дня он как бы забыл, что существует Писарев.

Старые симпатии отошли в прошлое, новых еще не было; наступила полоса апатии, причины которой коренились в том безволии, которое Розанов ощущал с детства. В „Уединенном“ он вспоминает, что „слабым стал делаться“ с 7—8 лет. „Это—странная потеря своей воли над своими поступками, „выбором деятельности“, „должности“. Например, на факультет я поступил потому, что старший брат был „на таком факультете“, без всякой умственной и вообще без всякой (тогда) связи с братом. Я всегда шел „в отворенную дверь“, и мне было все равно, „которая дверь отворилась“. Никогда в жизни я не делал выбора, никогда в этом смысле не колебался. Это было странное безволие и странная безучастность. И всегда мысль: „Бог со мною“. Но „в какую угодно дверь“ я шел не по надежде, что „Бог меня не оставит“, но по единственному интересу „к Богу“, который со мною, и по вытекавшей отсюда без'интересности, „в какую дверь войду“. Я входил в дверь, где было „жалко“ или где было „благодарно“... По этим двум мотивам все же я думаю, что я был добрый человек, и Бог за это многое мне простит“.

Непростительной психологической ошибкой будет, если кто-нибудь, в надежде оказаться тонким психологом, увидит в этой слабости, в этом „не делал выбора“, в этой безвольной безучастности—признак безличности. Напротив: крайнему индивидуализму, терзаемому, помимо всяких житейских передряг, глубокими и тяжкими внутренними антиномиями, в высшей степени свойственна такая слабость, такое безволие.

„Я знаю, как антиномичен крайний индивидуализм в живой душе“—писала однажды в частном письме З. Н. Гиппиус, много думавшая и много писавшая об индивидуализме. И всякий, кто прикасался к индивидуализму чуткой и родствен-

ной душой, знаком с его жестокими антиномиями, которые так истязают и обессиливают душу.

Принято думать, что гениальность есть сила и что сила гениальности сказывается в творчестве. Но не вернее ли признать, что гениальность есть слабость, в той мере, в какой она представляет собою ненормальность, патологическое явление (по Ломброзо—„дегенеративный психоз“)? Гипертрофия одного из элементов душевной жизни возможна лишь при условии ослабления одного из других элементов. Вот почему у многих гениальных людей ослаблена воля (при повышенной внутренней сосредоточенности). Чрезвычайная интенсификация сознания не дается даром и не проходит бесследно.

„Чувство преступности (как у Достоевского) у меня никогда не было: но всегда было чувство бесконечной своей слабости“... пишет Розанов в „Уединенном“.

Университет не сыграл значительной роли в жизни писателя. Формальная образованность, академическое „просвещение“ не могли его насытить. „Вовсе не университеты вырастили настоящего русского человека, а добрые безграмотные няни“,—читаем мы в „Опавших листьях“ (т. I).

Гимназическое и университетское просвещение представляется Розанову „нигилизмом, отрицанием и насмешкой над Россией“.

—„Как хорошо“, восклицает он (Оп. л, т. I),—„что я проспал университет. На лекциях ковырял в носу, а на экзамене отвечал по шпаргалкам. „Чорт с ним“. Кому из университетских людей не известно, что наши „Российские Императорские Университеты“ в старину были чем то в роде воспитательных домов, а в наше время стали фабрикой дипломов, департаментом патентованных посредственностей?“ Только о двух профессорах осталось у Розанова прекрасное воспоминание: их имена он называет святыми,—это были Буслаев и Тихонравов. С уважением вспоминает он еще о Герье, Стороженке и Ф. Е. Корше, но—„больше и вспомнить некого. Какие то обшмыганные мундиры. Забавен был „II. Г. Виноградов“, ходивший в черном фраке и в цилиндре, точно на бал, где центральной

люстрой был он сам. „Потому то его уже приглашали в Оксфорд“. Бедная московская барышня, ангажированная иностранцем“.

Розанов полагает, что автономия университетов вовсе не знаменует свободу университетского преподавания и независимость профессорской корпорации, у которой нет ни своего „credo“, ни своего „amo“, но знаменует собственно автономию студенчества, которое впрочем и есть „causa materialis“ и „causa finalis“ учреждения.

—„О чем они думают, эти люди“?..—возмущенно говорил однажды В. В. в частной беседе о русской профессуре. Сидит иной на кафедре двадцать пять лет, дерево-деревом, и повторяет то, что запомнил из немецких учебников. А нет того, чтобы взять перо в руки и написать что нибудь свое, свое“...

Университеты, как какие-то храмы—обсерватории Вавилона и древних Ѳив,—с Тимирязевым и Милюковым, один в смокинге и другой в сюртуке, но в париках седых „верховных жрецов“ и с „жезлами“.

Университетские „истории“, по Розанову, таковы: „запахло водочкой, девочкой, пришел полицейский и всех побил. „Так кончаются русские истории“ (Оп. л. т. II)

Так или иначе, но Розанов окончил историко-филологический факультет (Московского Университета) и сделался преподавателем истории и географии. Однако, учительство не было его призванием и не к учительству тянулась его душа. Он чувствовал себя не на месте в этой роли. В одном из примечаний к письмам Н. Н. Страхова („Литературные изгнанники“, т. I) Розанов пишет: — „Я никогда не владел своим вниманием (отчего естественно был невозможный учитель), но напротив какое то таинственное внимание, со своими автономными законами, либо вовсе неизвестными, либо мне не открывшимися, владело мною“. И ни одно мое намерение в жизни не было исполнено, а исполнялось, делалось мною, с жаром, с пламенем—мне вовсе не нужное, не предполагаемое и почти не хотимое или вяло хотимое. Нужно заметить „делая все со страстью“. каким то таинственным образом я все это

делал и холодно: и мне бы ничего не стоило „страстно участвуя (положим) в патриотической процессии“ сейчас (миг влияния) перейти к участию в „космополитической процессии“.

Только крайний индивидуалист может сделать следующее признание (находим его в том же примечании к 88-у письму Н. Н. Страхова): „Симпатичное лицо“ могло увлечь меня в революцию, могло увлечь и в Церковь,—и я в сущности всегда шел к людям и за людьми, а не к „системе“ и не за системою убеждений“. Вся, например, моя (многолетняя и язвительная) полемика против Венгерова и Кареева вытекла из того, что оба толстые, а толстых писателей терпеть не могу. Но „труды“ их были мне нисколько не враждебны—(или „все равно“).

В словах этих чувствуется некоторый излом и, во всяком случае, изрядная доля преувеличения. Но признание Розанова вполне искренно. В другом месте оно повторяется (Оп. л., т. II). Розанов пишет о Венгерове: „Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном обращении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот—уже пишу (мысленно) огненную статью“. И дальше: „Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан)“.

Подчиненность какому то „таинственному вниманию“ была для Розанова всю жизнь „самым отяготительным свойством“. Это „таинственное внимание“, как бы внутрь направленное, к чему то вечно прислушивающееся, является типической особенностью людей мистически настроенных, мечтательных, самоуглубленных натур.

Розанову думается, что свойство это практически разбило всю его жизнь: „никогда я не мог сказать себе: „ты должен слушать“ и слушал бы, „ты должен то-то сделать“ и делал бы. Как ни поразительно, я около сорока лет прожил „случайно в каждый миг“, это была сорокалетняя цепь случайностей и непредвиденностей; я „случайно“ женился, „случайно“ влюблялся, „случайно“ попал в консервативное течение литературы,

кто-то (Мережковские)—пришли и взяли меня в „Мир Искусства“ и в „Новый Путь“, где я участвовал для себя „случайно“ (т. е. в цепи фактов внутренней жизни „еще вчера не предвидел“ и „накануне не искал“) — (то же примечание).

В 1886 году появилась книга Розанова—„О понимании“—плод пятилетнего труда. Книга эта была, по признанию автора, на 737 страницах сделанная полемика против Московского Университета.

Труд остался незамеченным и неоцененным. Автору прислали из магазина обратно куль непродававшихся книг (отпечатано было 600 экз.), а другой такой же куль был продан на Сухаревой рублей за 15, на обертку для серии каких-то романов.

В книге „О понимании“ Розанов задается целью исследовать природу, границы и внутреннее строение науки, как цельного знания, трактует о предмете, содержании и сущности науки, развивает учение о познающем и познавании, учение о космосе и мире человеческом, а в заключении останавливается на соотношении между наукою, природою человека и его жизнью.

Впервые в истории философии понятию „понимание“ придается характер научного термина в отличие от обычного словоупотребления. В целом вся работа является результатом хорошо усвоенного гегельянства. В отдельных местах прорывается своеобразие автора, но все же трудно узнать в этой книге Розанова: вся она тяжелая, тусклая, насыщенная чем то схоластическим. В ней нет ни тени того блестящего, острого стиля, которым отмечены позднейшие труды Розанова.

После появления в свет книги „О понимании“, Розанов задумал другое, оставшееся неосуществленным, исследование—„О потенциальности и роли ее в мире физическом и человеческом“. Он был очень увлечен своим замыслом, осуществление которого должно, было как ему казалось, исчерпать все задачи философии, сделать ненужным дальнейшее философское исследование. Вот что пишет он о потенциальности в одной из сносок в книге „Литературные изгнанники“:

„Потенции это незримые, полусуществующие, четверть существующие, сотосуществующие формы (существа) около зримых (реальных). Мир, „как он есть“,—лишь частица и минута „потенциального мира“, который и есть настоящий предмет полной философии и полной науки. Изучение переходов из потенциального мира в реальный, законов этого перехода и условий этого перехода, вообще всего, что в стадии перехода проявляется, наполняло мою мысль и воображение.

И, словом, мне казалось, что моя философия обнимет ангелов и торговлю“.

Мысль о потенциальности и ее философском значении не оставляла Розанова всю жизнь. Он постоянно возвращался к ней, хотя так и не удосужился написать то капитальное исследование, которое было намечено у него вслед за книгой „О понимании“.

В одном из писем ко мне (29 августа 1918 г.) Розанов затрагивает вновь идею потенциальности по поводу элевзинских мистерий, в ритуал которых входило помахивание зеленой веткой в знак благословенного произрастания.

„Ведь все „О понимании“,—пишет Розанов—пропитано у меня „соотношением зерна и из него вырастающего дерева, а в сущности просто—роста, живого роста. „Растет“ и—кончено. Тогда, за „набивкою табаку“ у меня возникло: да кой черт Д. С. Милль выдумывал, сочинял, какая „цель у человека“, когда я есмь „растущий“ и мне надо знать: „куда, во что (дерево) я расту, выращиваюсь“, а не что мне поставить („искусственная вещь“, „табуретка“) перед собою.

Вдруг — колокола, звон. „Пасха“, — „Эврика, эврика“. Слово—одно: потенция („зерно“)—реализуется. Вы понимаете: „стул опрокинут“ — „стул поставлен“, „нельзя сидеть“, „можно сидеть“. Стол; „можно обедать“ — „нельзя обедать“. Да теперь „я долезу до неба“ (Бога). Религия, „царство“ (устроение России)—все здесь, в идее „потенция“, „что растет“. Но сущность то выражалась еще глубже именно

в элевзинских таинствах, чем (я думаю, не читал) у Шеллинга. Суть-то именно, как Вы то же не раз упоминаете—в обличении вещей невидимых", а пожалуй и еще лучше: в облечении вещей невидимых. Все „облекается" в одежды, и история самая есть облечение в одежды незримых божеских планов. Словом тут „в одном слове", „поставил стул"—лежат все пророки, вся Библия".

Может быть задуманное Розановым сочинение о потенциальности потому и не было осуществлено, что писатель попал в тоскливую полосу провинциального прозябания. Занимаясь преподаванием в гимназии, он имел достаточно досуга, но самая обстановка в которой приходилось ему жить, была далеко неблагоприятна для научно-философской работы. К тому же семейная жизнь Розанова сложилась неудачно (первый брак). Впоследствии, будучи женат вторично (гораздо более счастливо), он с содроганием вспоминал о своих отношениях с первой женой. Она была значительно старше мужа, отличалась невыносимо сварливым характером и преследовала его совершенно безосновательной ревностью. Часто в доме происходили бурные и дикие сцены, доводившие нервного и впечатлительного В. В. до слез. *)

Служба в гимназии была писателю в тягость. Отношения между ним и учениками не были плохи, но само по себе учительство его тяготило, в нем кроме „милых физиономий" и „милых душ" ученических все было отвратительно, чуждо, несносно, мучительно в высшей степени: „Форма: а я—бесформен. Порядок и система:—а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным и со всяким „долгом" мне в тайне души хотелось устроить „каверзу", „водевиль" (кроме трагического долга).

В каждом часе, в каждом повороте—„учитель" отрицал меня,—я отрицал учителя. Было взаимо-разрушение „долж-

*) Передаю со слов З. Н. Гиппиус, которой В. В. Розанов рассказывал об этом периоде своей жизни.

ности“ и „человека“. Что то адское. Я бы (мне кажется) „схватил в охапку всех милых учеников“ и улетел с ними в эмпиреи философии, сказок, вымыслов, приключений „по ночам и в лесах“,—в чертовщину и ангельство, больше всего в фантазию: но 9 часов утра, „стою на молитве“, „беру классный журнал“; слушаю „реки, впадающие в Волгу“ а потом... систему великих озер Северной Америки“ и (все) штаты с городами, Бостон, Техас, Соляное Озеро, „множество свиней и Чикаго“, „стальная промышленность в Шеффильде (это впрочем в Англии), а потом лезут короли и папы, полководцы и мирные договоры, „на какой реке была битва“, „с какой горы посмотрел Иисус Навин“, „какие слова сказал при пирамидах Наполеон“, и... в довершение—„к нам едет ревизор“ или „директор смотрит в дверь, так ли я преподаю“.

— Ну что толковать—сумашествие“...

Всеми силами души стремился Розанов выбраться из провинциальной трясины. Н. Н. Страхов отговаривал его от переезда в Петербург и писал ему по этому поводу (в 1888-ом году):—„Вы хотите оставить Елец, а Елец я воображаю чем-то вроде Белгорода, в котором родился. Благословенные места, где так хороши и солнце и воздух и деревья. И Вы хотите в Петербург, в котором я живу с 1844 года— и до сих пор не могу привыкнуть к этой гадости и к этим людям и к этой природе“.

В 1891-ом году Розанов перевелся учителем в Бельскую прогимназию. Город Белый (Смоленской губ.) состоял тогда из одной „Кривой“ улицы с рядом переулков в поле и был до того глух, что однажды ночью волки разорвали неубранную свинью между собором и клубом.

Писатель чувствовал здесь некоторую опору в семье брата (директора Бельской прогимназии) Ник. Вас. Розанова, но на другой год брат был переведен в Вязьму.

В Белом Розанов написал „Сумерки просвещения“ и „Афоризмы и наблюдения“, отчасти для того, чтобы показать учебному округу, что „провинциальный учитель“ может „доказа-

тельно назвать „глупостью“ все дело, с которым министерство возится, как медведь с отталкиваемым бревном“.

Статья эта действительно раздражила тогдашнего министра Делянова, и он потребовал прекращения печатания статьи, которая разрушала все катковские традиции. Однако редактор „Русского Вестника“ Ф. Н. Берг отказался исполнить требование министра. „Сумерки просвещения“ сильно восстановили учебный округ против вольнодумного учителя, но, говорит Розанов,—учительство около свиней и волков—представляло собою то естественное наказание, больше которого не было в руках округа. „Хуже было, и возможно для округа, вовсе „исключить из службы“: но тогда естественно и понятно для округа я перешел бы всецело к литературной деятельности, и в округе отлично знали, что тягостнее будет посидеть в Белом“ (примечание к 48-му письму Н. Н. Страхова).

В Московском учебном округе Розанов прослужил 13 лет при попечительстве графа Капниста, который, как говорили, был попечителем потому, что „у него были хорошие бакенбарды, представительный рост и приятный голос“ *). Литературная деятельность молодого педагога развивалась все более. Появились—„Легенда о Великом Инквизиторе“, „Эстетическое понимание истории“, „Место христианства в истории“, и целый ряд мелких вещей. По мере того, как увеличивалось число произведений писателя, росла враждебность к нему со стороны начальства. Писатель задыхался в провинции, его влекло в Петербург. В примечании к 55-му письму Н. Н. Страхова читаем: Белый очень милый город для себя. Но все-таки потолкавшись в университете и гимназии, несешь в себе некоторый клубок порывов,—на который какой резонанс в наших провинциях с их голубым небом и такими звездами? При Лютере, при Микель-Анджело, каждый городок, каждый Са-

*) Здесь Розанов что-то напутал, ибо по свидетельству Э. Л. Радлова, граф Капнист вовсе не обладал описанной наружностью; напротив, внешность его и голос были непривлекательны.

лерно или Аугсбург, жил так как и вся Италия или Германия. Те же турниры, те же миннезингеры, те же вопросы общие, сколько ангелов может стоять на конце иглы. Почему же там было не жить Меланхтону, Лютеру, Леонардода-Винчи. В ту великую и вообще во все святые эпохи истории было равно жить, что в Афинах, что в Аргосе. Но поживите-ка в Аргосе в XIX-м веке... Так пять лет я выжил в Брянске, и вдруг эта же жизнь открылась в Белом: — „Отчего вы сходили тогда не с червей, взяли бы ремиз“.—Так пришли бубны, король и дама?—А слышали, та замужняя сошлась с почтмейстером“.—„А та барышня уж стара“.—Будет ревизия?— „Нет, ревизии не будет“. Именно с XIX века, с проведения железных дорог и „окончательной централизации“, все стеклось в один мозг, в столицы, оставив тело страны бесчувственным и бездыханным. Настал какой то „окончательный папа“ и „окончательная кокотка“ и „окончательный министр“ и „окончательный философ“, который есть журналист на все руки“... (Примечание к 55-му письму Н. Н. Страхова).

Одновременно начался ряд мелких, но досадных неудач с печатанием статей.

По этому поводу Страхов писал Розанову в 1892-м году:

„К Вам нужно приставить литературную няньку, которая за Вами бы ходила, выправляла бы Ваши статьи, держала бы корректуру, издавала бы отдельно и вела бы переговоры с журналами: некоторое время я исполнял должность этой няньки, но я думал, что воспитание кончено. А вот Вы на своих ногах как не твердо входите“.

С годами внимание Розанова все сильнее устремлялось к вопросам веры и христианской мистики, к тому обличению вещей невидимых, которое составляет сущность духовного роста религиозных людей. Настоящая жажда религии и вполне законченная религиозность овладели Розановым, по его признанию (см. примечание к 55-му письму Н. Н. Страхова) тогда, когда ему стало ясно, что

Sunt destinationes rerum.
Sunt metae—rerum
и Primae sunt divinae
Secundae sunt—humanae,—

когда он различил мир божественный в природе от мира случайно-произвольно-людского. Случилось это, по словам Розанова, в тот по истине священный час, один час (за набивкой табаку),—„когда прервав эту набивку, я уставился куда-то вперед и в уме моем разделились эти destinationes и эти metae с пропастью между ними... Отсюда до сих пор (57 лет) сложилось в сущности все мое миросозерцание: я бесконечно отдался destinationes, как Бог хочет, „как из нас растет", „как в нас заложено" (идея „зерна", руководящий принцип всего „О понимании"), и лично враждебно взглянул на „metae", „мечущееся", „случайное", „что блудный сын—человек себе выдумывает", в чем он „капризничает" и „проваливается". Этим „часом" („священный час") я был счастлив года на два, года на два был „в Пасхе", „в звоне колоколов",—во истину „облеченный в белую одежду", потому что я увидел „destinationes",—вечные, от земли к небу текущиеся как бы растения, вершины коих держит Бог, по истине „Все-Держитель". Отсюда, теперь я припоминаю, вырос и мой торжественный слог — так как кому открылись destinationes—не в праве говорить обыкновенным уличным языком, а только языком храмовым, ибо он жрец, не людьми поставленный, а Богом избранный: т. е. ему одному открылась воля Божия (destinationes в мире), и т. д. Я хорошо помню и отчетливо, что собственно с этого времени я стал и религиозным, то-есть определенно и мотивированно религиозным, тогда как раньше только „скучал (гимназическим) атеизмом", не зная куда его деть, и главное куда выйти из него. Вот „куда выйти"—и разрешилось в тот час".

Описанное переживание носит явный характер мистического опыта, с его типическими свойствами: интуитивностью, экстатичностью, кратковременностью и почти невыразимостью. Для

религиозного человека нет переживания более значительного, чем мистический опыт. В жизни всех величайших мистиков бывали переживания, подобные описанному. Для них истина открывалась в мистическом восприятии, целостно появлялась в откровении. В наше время, когда богосознание заменилось богоизобретением, когда только знанию, а не вере придается об'ективное и общеобязательное значение,—мистический опыт стал редким „пережитком". Однако, часто приходится убеждаться в том, что все непосредственное и недоказуемое несравненно тверже доказуемого и выведенного, что истинное познание восходит к интуиции, упирается в обличение незримых сущностей.

В тайне нашей умопостигаемой воли скрыта разгадка двойственности вещей видимых и вещей невидимых, мира этого и мира иного. Наше несчастье в том, что порвана наша связь с миром иным. Через посредство мистического опыта связь эта может быть восстановлена,—на час, на минуту, на миг,—призрачно, но тем не менее благодатно. Таким восстановлением незримой связи, поворотным пунктом в процессе самоопределения и было для Розанова пережитое им состояние, с которым нам дано ознакомиться лишь постольку, поскольку подобные состояния вообще выразимы словами.

Вскоре произошла желанная перемена в жизни писателя. В письме Н. Н. Страхова от 31-го марта 1893 года читаем: „Формуляр коллежского советника В. В. Розанова отправлен был в канцелярию Государственного Контроля 15-го марта за № 4658. Из полученного ныне отзыва Государственного Контроля видно, что Розанов с 16-го марта перемещен на службу в контроль с назначением на должность чиновника особых поручений VII класса при Государственном Контроле. Итак что же Вы не едете? В чем беда?" (письмо 62-е). Вскоре состоялся желанный переезд в Петербург,—в следующем письме (от 15-го мая 1893 года) Страхов приглашает Розанова зайти к нему. В письмах Страхова появляется эпитет „дорогой", по поводу чего Розанов замечает: „Всетаки должно быть лично

я симпатичнее, чем в писаниях: несмотря на идейную переписку, и все связывающее, что из нее вытекает, Страхов нигде в предыдущих письмах не переступал за далекое „многоуважаемый“. И сейчас перешел на более теплый эпитет, едва я приехал в Петербург. Отсюда правило для моих критиков: „не все в Р-ве так худо, как кажется в его сочинениях“. Все таки человек выше и подлиннее его „сочинений“.

К тому времени в столице, на Петербургской стороне, образовалась целая колония писателей, к которой, кроме Розанова, принадлежали: Н. П. Аксаков, автор—„Духа не угашайте“ и других трудов богословских, стихотворных и публицистических, И. Ф. Романов („Рцы“), ничего заметного (в то время) не писавший; шумный С. Ф. Шарапов и некий „длиннобородый славянофил“ Аф. Васильев, досаждавший Розанову настойчивыми приглашениями и унылыми беседами. К этому кружку, который был, в известной мере, кружком „живых славянофилов“, присоединился и Страхов. По существу, после смерти Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, Страхов остался единственным предствителем чистого славянофильства*). В 1894 году Розанов предпринял отдельное издание „Легенды о Великом Инквизиторе“. К напечатанию книги удалось приступить с большими затруднениями, т. к. материальная нужда писателя была тягостна,—он получал ничтожное жалование (100 р. в месяц). Нужда эта отражалась и на его настроении и на творчестве.

В письме от 14 июля 1894 г. (из Ясной Поляны) Н. Н. Страхов журит Розанова за „необдуманные статьи“. В примечании к этому письму по поводу необдуманных статей Розанов говорит:—„Все они (т. е. статьи) об'ясняются крайней материальной стесненностью, подобной которой я

*) Только недавно, когда в Москве возник „второй расцвет славянофильства“, это течение обогатилось рядом выдающихся мыслителей, каковы Н. А. Бердяев. С. Н. Булгаков, свящ. П. Флоренский, Вл. Эрн. (†) и др.

Э. Г.

никогда в жизни не переживал и, оглянувшись на которую, до сих пор смотрю па эти годы, 1893 — 1898—9 (переход в Нов. Вр и оставление службы в контроле) с каким то подавленным страхом. Душа наша—в тисках жизни; в тисках квартиры, в тисках обеда, в тисках долга в мясную и зеленную лавочку". И дальше: „Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову—но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали чем то похожим на ковры. Вид толстой ковровой ткани, явно тепло укутывающей лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была нестерпимо-студеная. Между тем каждое утро отправляясь в контроль, я на углу Павловской прощался с женой: я направо в контроль, она налево в зеленную и мясную лавку. И зрительно было это; она в меховой, но короткой, до колен, кофте. И вот увидев этих „холено" закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою В..., такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и „все-таки философа" (О понимании) переполнило меня в силу возможно-гневной души (т. е. она может быть гневною, хотя вообще не гневна) таким гневом на все, „все равно на что,—что"... Можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и может быть и письма тех лет были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева,—очень мало в сущности относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал. Я считаю все эти годы в литературном отношении испорченными. Приход Перцова (П. П.) и вскоре предложение им издать сборники моих статей,—было, собственно, началом „выхода в свет".

У меня не было до этого самых знакомств, самого видения лица человека,—который бы мне помог куда-нибудь выбраться".

Ища духовной поддержки, Розанов желал узнать о себе мнение Л. Толстого, через посредство Страхова который был близок с великим Яснополянским мудрецом.

В бытность в Ясной Поляне, Н. Н. Страхов читал вместе с Толстым „Легенду о Великом Инквизиторе“ Розанова, но в письмах Страхова нет отзыва Л. Н-ча об этой книге.

С глубоким уважением и любовью относился Розанов к Н. Н. Страхову и до конца жизни сохранил о нем самую светлую память. Страхов был „крестным отцом“ Розанова в литературе. Это был человек, совместивший в себе одном— философа, биолога, критика и публициста. Тайна Страхова, по словам Розанова, „вся в мудрой жизни и в мудрости созерцания“. По журнальной деятельности Страхов был товарищем Ф. М. Достоевского, Н. Я. Данилевского и Ап. Григорьева, но прочную и широкую известность получил только в восьмидесятых годах.

Страхов высоко ценил в Розанове блестящий талант, но опасался за его неустойчивость и неровность.

На портрете, подаренном Страховым Розанову, читаем: „Очень люблю я Вашу даровитость. Василий Васильевич, но боюсь, что из нее ничего не выйдет.

11 окт. 1895 г. СПБ. Н. Страхов“.

Приблизительно к тому же периоду относится и дружба Розанова с молодым писателем, студентом Ф. Э. Шперком, которого он считал даровитее, оригинальнее и самобытнее себя (см. „Уединенное“). Шперк умер 26-ти лет и как писатель, остался совершенно незамеченным. Он издал ряд маленьких брошюр на философские темы, представляющих собою перепевы кое-каких мотивов классической философии. Писать он не умел и это, по словам Розанова, была „странная идиосинкразия собственно на бумаге,—при глубоко ясной и интересной устной речи“. Под влиянием, повидимому, Розанова Шперк стал славянофилом и перешел в православие.—„Я безумно его любил“, читаем мы (во II-ом т. „Оп. Листьев“) о Шперке. По мнению Розанова, Шперк был проницателен до гениальности и мог бы сделать значительный вклад в историю мысли, если бы не безвременная кончина (от туберкулеза).

II.

В 1895 году в „Русском Вестнике“ появилась статья Розанова о Л. Толстом, наделавшая большой шум. На Розанова посыпались резкие нападки, между прочим, Михайловского, предложившего по поводу этой статьи (раньше Струве) „исключить Розанова из литературы“. Все были возмущены тем, что Розанов обратился в этой статье к Л. Толстому на ты. Автор статьи пишет по этому поводу в примечании к письму (88-му) Страхова: „Я не мог об'яснить, что „ты“ мы говорим Государю, Богу, и говорим вообще всякому, получаем право говорить всякому, если говорим с ним под углом Вечных Беспокойств. А моя статья была такова; и мое волнение во время ее писания было как ни при каком другом писании“...— „Странно“—восклицает Страхов в письме от 13 сентября 1895 г.—„Описания смерти и мысли Толстого о смерти составляют предмет величайшей важности и достойны самого прилежного изучения. Но Вы к этому неспособны, не умеете вникать в чужие мысли; от Вас все заслонено вопросом, верит ли Т. в бессмертие или не верит, и о самой смерти Вы не желаете думать“.

По самому складу своей души, пламенной и порывистой, Розанов не мог, конечно, написать о Толстом в ином тоне. Ему казалось даже, что его статья могла понравиться Толстому. Характерно в этом смысле примечание Розанова к тому же письму Страхова: „В бытность у Толстого в Ясной Поляне, я заметил ему, что встречал отличной души торговцев, подобных тому, какого он описал в „Хозяине и Работнике“: они копят, торгуют, радуются прибытку и нисколько не жадны,

отлично относятся к „подручным своим“ и суть полные на мой взгляд христиане. Не забуду живости, с какой он поднял голову и глубоко активно сказал: „О, да, да.—Конечно“, как бы продолжая мысленно или лишь по старости не договорив: „И я таких знавал: богаты — и полные христиане“... Так как я имел в виду „Хозяина и Работника“ и, оспаривая его взгляд на „хозяина“ при жизни, в торговых трудах его, становился на точку зрения всех возражений Толстому в этой моей статье,—то я почувствовал, что и тогда ни мало Толстой не был раздражен моею статьей, а горячее заступничество в ней Церкви, вероятно, даже одобрил. Вообще по существу-то морально, статья была права. Она только написалась не хорошо, как не хорошо писалось все в то время, по об'ясненным выше причинам“.

Единственной точкой соприкосновения Толстого и Розанова является их любовное отношение к русскому быту. Обоим свойственно напряженное чувство быта, оба одинаково „ветхозаветно“ чувствуют жизнь. Подобно Толстому Розанов разворачивает перед своими читателями детскую пеленку „с зеленым и желтым“ и возводит эту пеленку в мировую ценность.

Другой общей чертой Розанова и Толстого, является противоречивость, черта, вообще свойственная религиозно-философским исканиям и составляющая характерный признак метафизических истин, по своей природе состоящих из тезиса и антитезы. М. Горький в своих „Воспоминаниях“ о Толстом приводит слова Толстого: „Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие не глупость: дурак упрям, но противоречить не умеет“.

Наконец, есть много общего в отношении Розанова и Толстого к женщине, при всем различии их взглядов на пол и половую жизнь. М. Горький свидетельствует, что Толстой говорил о женщинах „охотно и много, как французский романист, но всегда с грубостью русского мужика“. Однако, в то

время, как Розанов благоговел перед женщиной и восхищался ею, Толстой относился к ней враждебно и любил в своих романах наказывать ее, если только она существо не достаточно ограниченное, как Китти или Наташа Ростова. Отмечает Горький в своих „Воспоминаниях“ и рассуждение Толстого о символизме свадебных обрядов: „Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым“.

Сближает Толстого с Розановым общая антипатия к Некрасову и любовь к Лескову. Зато в оценке Достоевского они резко расходились: Толстой не понимал, почему Достоевского так много читают и находил его тяжелым и бесполезным писателем.

Розанов, напротив, считал Достоевского гениальным и самым нужным писателем. К сожалению, не сохранилось сведений об отношении Толстого к Розанову. Розанов же относился к великому писателю двойственно: в „Уединенном“ и „Опавших листьях“ мы встречаем не мало отрицательных отзывов о Толстом. Наряду с этим он восхищался искренностью и нравственным величием Толстого.

В статье „Русская Церковь“ („Полярная Звезда“, 1906 г. в 1909 году издана отдельной брошюрой), сравнивая Толстого с римским папою, Розанов говорит: „Л. Толстой не потому не мог-бы подчиниться папе, что он другой веры, иной Церкви, иного племени; но потому, что свободное образование Толстого выше, чище, искреннее и основательнее, чем ныне уже искусственное и условное образование папы“.

В статье „Поездка в Ясную Поляну“ (сборник „о Толстом“. М 1909), Розанов восхищается простотою и тишиной Толстого. „Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолимее раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственною тишиною“? „Вот эта мировая тишина особенная, многозначительная, религиозная была и в Толстом. Не она ли есть то „неделание“, которое представляется таким незначительным в его проповеди,

т. е. незначительным в формуле; тогда как в существе как жизнь, как метод жизни, она, конечно ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицая (в литературе); а, когда видел, то сказал: „хорошо“. Хорошо таким быть, хорошо бы такому всему быть. Зачем грозы, зачем бури, шум?... Это ненужно и мелко. Тишина-в ней бездонная глубь...“

Этой тишины, ясности и величия Розанов не чувствовал во Вл. Соловьеве. Может быть, оттого и не чувствовал, что их отношения сразу приняли характер полемический. Вообще 90-е годы (завязалось литературное и личное знакомство Розанова и Толстого) были для В. В. годами „бури и натиска“, волнений и тревог. Эти годы составляют совершенно особую полосу в жизни Розанова и в известном смысле они прошли под знаком „оппозиции“ Соловьеву. Для того, чтобы параллель между Розановым и Соловьевым не была схематическим сопоставлением идей, чтобы уяснить себе principium movens их полемики и увидеть самые корни их разногласий, нужно предварительно обратиться к истории их личных отношений. О них можно судить по тем замечаниям о Соловьеве, которые разбросаны в „Литературных изгнанниках“ и др. книгах Розанова. Не раз вспоминал Розанов о Соловьеве в беседах со мною и это дает мне основание думать, что у меня составилось довольно верное представление о взаимоотношениях обоих писателей.

Розанов познакомился с Соловьевым в обстановке мало отвечающей философским исканиям, именно в увеселительном саду „Аквариум“ на Каменноостровском.

Инициатива знакомства исходила от Соловьева, привлеченного к Розанову своеобразием его писаний. Кажется, они не были очарованы друг другом. Много позже, в 1905 г., вернувшись мысленно к своему знакомству с Соловьевым, Розанов писал: „Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. С. Соловьева, и перечел их—слезы наполнили мои глаза, и—безмерное сожаление. Верно мудры мы

будем только после смерти; а при жизни удел наш—сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьева, его знаний, души? Ничем. Просто прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним никогда не заговорил „по душам“, хотя так много думал о нем до встречи, после встречи и после смерти. Думал о нем, когда не видел; а когда видел,—совершенно ничего не думал, и просто ходил мимо, погруженный во всяческую житейскую дребедень.—Когда я перечел эти маленькие писульки, где отражается его добрая и милая душа, решительная скорбь овладевает мной, и жажда точно вырыть его кости из могилы и сказать в мертвое лицо: „все было не так, что я делал и говорил в отношении тебя“. („Из старых писем“,—„Вопросы жизни“, октябрь—ноябрь 1905).

Еще до свидания с Соловьевым, у Розанова завязалось заочное знакомство с ним, начавшееся с того, что в 1890 (91?) г. Соловьев написал в „Русском Обозрении“ рецензию на брошюру Розанова „Место христианства в истории“ и послал ему свой отзыв с большим рукописным добавлением. Рецензия эта не вошла в собрание сочинений Соловьева, поэтому приводим ее здесь, как очень показательную оценку исторических воззрений Розанова:

„Место христианства в истории“. В. Розанов. М. 1890 г.

„Эта брошюра обращает на себя внимание и отдельными прекрасными страницами, и общею мыслью автора, который очень своевременно напоминает нам истину единства человеческого рода и общего плана всемирной истории. В последнее время, как известно, печальный факт национальной розни возводится в принцип некоторыми модными теориями, утверждающими, что человечество есть пустое слово, а существуют только отдельные племенные типы. Автор начинает с характеристики двух главных исторических племен, арийского и семитического, чтобы показать потом, что вселенский идеал

человечества и окончательная задача всемирной истории предполагает синтез арийского и семитического духовных начал, которые в этом своем единстве должны приобщить к себе и все прочие народы земли. Собственно, характеристика двух племен у автора, видящего в арийском духе преобладание об'ективизма, а в семитическом—суб'ективизма, слишком обща и притом не раз уже была высказана и в иностранной, и даже в русской литературе. Но в дальнейшем развитии своей мысли автор высказывает много оригинального и глубоко-верного. А главным образом он заслуживает признательности за то; что во-время напомнил нам, что в „Вифлееме и Иерусалиме решались судьбы и Востока и Запада", что там „заложена была новая история и новая цивилизация—та, в которой живем, думаем и стремимся мы" (стр. 22) и в которой откровение, воспринятое семитами, срослось с высшим плодом арийского духовного развития (стр. 35). Этот синтез совершился вопреки иудейскому исключительному национализму, который погубил еврейство политически, но не помешал ему дать миру христианство. По поводу молитвы Ездры, автор указывает, что падение Иерусалима, „было наказанием не за частные грехи отдельных людей, но за грех общий всему Израилю, за грех его перед другими народами, о которых он забыл, которых он не хотел приобщить к своему избранию" (стр. 21). Эту старую истину хорошо было лишний раз напомнить в виду диких теорий, прямо или косвенно отрицающих солидарность племен и культурно-исторических типов в общей исторической работе".

Рецензия эта 15 лет спустя навела Розанова на размышление о роли Соловьева в нашей богословской и религиозной литературе и он вновь останавливается в статье „Из старых писем" на значении Соловьева в этой области, воздавая ему должное с полной об'ективностью и глубоким уважением.

Далее он пишет: „К сожалению, за неответом моим, по незнанию его адреса—знакомство наше не завязалось в том

же 1890-м году. От скольких увлечений, ошибок он мог бы меня удержать; как мог бы расширить мой политический, да и религиозный горизонт. Он знал действительность, а я ее вовсе не знал, он был всегда много-люб и много-дум; и мог расхолодить мои увлечения просто своевременным указанием на такие-то и такие-то факты, на необходимость оглянуться на иные стороны, чем какая, в единственном числе стояла передо мною. Познакомился я с ним лично только в 1895 году—после жестокой и грубой полемики, какую вели мы в 1894 году. О полемике мы никогда не вспоминали—просто как о том, что „прошло". Я думаю, ни он не настаивал бы на своих определениях меня, ни я не думал ничего из того, что высказал о нем. Все было—проще, яснее и лучше, чем я представлял о нем (в личности его) со своей жестоко-национальной и жестоко-ортодоксальной точки зрения. Он был публицист, искренно и горячо любивший Россию (я воображал, что он враг ее); при том работающий для нее с таким широким охватом мысли, к какому уже по уровню начитанности и научного образования, на котором я стоял,—я ни тогда, ни потом не был способен; хотя я не отрицаю что от узости моих горизонтов происходили некоторые плюсы во мне, напр. в силе убеждения, в преданности даже ложным идеалам, которые он, вероятно, при знакомстве оценил и полюбил. По крайней мере я все время чувствовал, и, думаю—не обманываюсь, постоянную его ласку к себе".

Из воспоминаний Розанова о Соловьеве приведу следующий рассказ: „Обычно я его посещал по пути в контроль (на службу), в „Hotel d'Angleterre" (Исаакиевская площадь); мешал, конечно (и тогда же это чувствовал), но ни одного вечера и вообще рабочего времени у него не расстроил. Ходил он дома в парусинной блузе, подпоясанный кожанным ремнем, и в этом костюме имел в себе что-то заношенное и старое, не имел вообще того изумительно-эстетического выражения, какое у него бывало всегда, едва он надевал сюртук.—„Извините, я должен выйти..."—сказал он раз, и взяв огромный

лист газеты, аккуратно начал отрывать в нем полосу. Я смотрел на него с недоумением. „Это—покойники, объявления о покойниках. И когда мне газетная бумага нужна для чего нибудь пустого или унизительного, то как же покойники? Вечная память. И мне страшно и больно было бы своими руками уничтожить и особенно огрязнить место, где в последний раз написаны их имена, и их со скорбью читают родные“. Не буквально, но эта прекрасная мысль, в этой мотивировке и именно с религиозным страхом, была высказана им. Не правда ли замечательно? Ведь это подумалось раньше, чем сделалось, вошло в обыкновение? Нам этого не пришло на ум: значит, об умерших он думал благочестивее, чем кто-либо из живых, из „наших знакомых“. Около окна его, замороженного или холодного, бились голуби. Взяв кусок булки со стола (на столе у него вечно была какая нибудь сухая еда, икра или в этом роде), он открыл фортку и раскрошил голубям хлеб. Они знали это окно и прилетали на готовый или занасенный корм. Помню, с каким недоверием посмотрел я на эту привычку (было 1-е мое к нему посещение). „Вот изображает пророка у Лермонтова, или библейского—который тоже кормил птиц или птицы его кормили; зачем этот театр?... „Мне не пришло тогда на ум, что ведь не для меня же и моего посещения прилетели голуби, что это очевидно бывало, всегда бывало—и, следовательно, тут не театр, а трогательнейшая привычка, грациозная дружба философа и пророка без прикрас с зябнувшими городскими птицами. Но я был подозрителен в то время и замарал его своею мыслью. Еще раз я его застал только что вернувшегося из поездки (на Иматру или в Москву). На столе лежала коробка фиников. Он дал звонок и передавая коробку мальчику, дал ему адрес, по которому он должен был снести ее.—„Кто это?“ спросил я машинально,—„Старушка одна. Одинокая и бедная. Я давно ее знаю (чуть ли не с дома отца) и вот уже сколько лет, когда приезжаю в Петербург, всякий раз посылаю ей фиников. Мне это ничего не стоит, а ей отрадна мысль, что она не забыта“.

Несмотря на запоздалую нежность и внимание, сквозящие в воспоминаниях Розанова о Соловьеве, нельзя не считаться с тем, что, по его собственному признанию, он прошел мимо Соловьева, как мимо верстового столба. В этом было, очевидно, нечто органическое, непреодолимое, иначе говоря,— „вполне естественное". Так люди, пламенеющие своими думами, погруженные в свои темы, бывают немы и глухи ко всему, лежащему хотя бы и рядом, но вне этих дум и тем.

Розанов был Соловьеву интересен. Соловьев Розанову—едва ли. В „Уединенном" читаем: „В Соловьеве то только интересное, что „бесенок сидел у него на плече" (в Балтийском море). Об этом стоило поговорить. Загадочна и глубока его тоска; то, о чем он молчал, а слова, написанное—все самая обыкновенная журналистика („бранделясы"). Он нес перед собою свою гордость. И она была ничто. Лучшее в себе грусть,—он о ней промолчал".

Розанов говорил, что „последняя собака, раздавленная трамваем", вызывала в нем большее движение души, чем философия и публицистика Вл. Соловьева (а также Л. Толстого и Рачинского). Ему не нравилась ни жизнь Соловьева, ни душа его. Соловьев казался ему „аристократом", к тому же чрезмерно избалованным славою. Это не значит, что он его не ценил, напротив, он относился к трудам Соловьева с уважением, даже любовался его деятельностью, без всякой зависти к заслуженному успеху Соловьева. Но не было у него теплого чувства к нему, не было совсем любви. Его возмущало, что Соловьев, так много писавший и говоривший о христианстве и о церкви, ничего не сказал о браке, о семье. Правда, Соловьев написал „Смысл любви", но это, по мнению Розанова, „естественная философская тема", беда же заключается в том, что он „ни одной строчки в десяти томах „Сочин" не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи" („Оп. листья" т. II, стр. 330—331).

На Розанова произвела отталкивающее впечатление полемика Вл. Соловьева с Н. Н. Страховым. Страхов спорил, строил аргументы, Соловьев же действовал преимущественно иронией, остроумием и намеками на „ретроградность“ и „прислужничество правительству“. В примечании к VII-му письму Н. Страхова („Литер. изгн.“) Розанов говорит: „Во всей этой полемике, сплетшей наиболее лучший венок, т. е. наиболее либеральный венок Соловьеву, он был отвратителен нравственно“. Юный друг Розанова Ф. Э. Шперк заметил после нескольких посещений Соловьева, что это „в высшей степени эстетическая, натура но вовсе не этическая“. Может быть, потому и позволил себе Шперк очень развязный выпад против Соловьева на столбцах „Нового Времени“. И вот тут то сказалось, что Розанов действительно ценил и уважал Влад. Серг-ча: он решил „проучить“ Шперка и устроил свидание с Волынским, прочитавшим Шперку беспощадную, уничтожающую отповедь. А. Л. Волынский, расказывавший мне о подробностях этой „экзекуции“, хорошо помнит, с каким живейшим сочувствием поддакивал В. В. каждому его доводу; ему очень хотелось, чтобы Шперк был „разбит в пух и прах“ и поставлен на „свое место“.

А. Л. Волынский казался ему в данном случае наиболее подходящим „наставником“. Спрашивается, почему же Розанов не взял на себя „вразумление“ Шперка? Полагаю не потому, что он любил Шперка, а потому что не любил Соловьева. „Эстетическая натура“ казалось ему очень верным определением „Тихого и милого добра, нашего русского добра,—добра наших домов и семей, нося которое в душе, мы и получаем способность различать нюхом добро в мире, добро в Космосе, добро в Европе, не было у Соловьева“,—пишет он в „Литер. Изгнан“. Розанову не нравился даже смех Вл. Сер., тот смех, который многие находили детским, чистым и заразительным. Ему мерещилось в нем что то страшное, демоническое. В. В. был уверен, что Соловьев считал себя выше всех окружающих людей, даже выше России, выше Церкви, что он

чувствовал себя „Моисеем“, которому не о чем было говорить с людьми, потому что он говорил с самим Богом. Ему казалось, что в Соловьеве отсутствовало чувство уравнения себя с другими, чувство счастья в уравнении, радости о другом, о достоинстве другого.

Товарищеского и дружеского отношения к людям Соловьев не знал,—„а со всеми на ты“, замечает Розанов. Письма Влад. Серг-ча и воспоминания о нем свидетельствуют о том, что он способен был относиться к людям ласково и дружелюбно, и это отчасти опровергает мнение Розанова. Что же касается привычки быть „со всеми на ты“, то эта черта была свойственна и Розанову. „Он со всякой шушерой готов был пить брудершафт“—вспоминал о В. В. один из собратьев по перу, „и нередко бывало, что какой-нибудь захудалый репортеришка снисходительно трепал его по плечу, называя „Васей“ и „ты“.

Однако, Розановская ласковость к людям носила совершенно иной характер: он любил приглядываться к людям и радовался, находя в них достоинства. Его оценки не всегда осторожны, но в них неизменно чувствуется очень активное наблюдение. Он не был никогда равнодушен даже к маленьким людям. К болям и нуждам души человеческой он относился с живым сочувствием, полным искренней сердечности и „нутряного“ тепла. Именно этого не доставало, по мнению В. В., Соловьеву: „он ничего не понимал в окружающих, кроме рабства и всех жестоко или ласково, но большею частью ласково (т. е. наиболее могущественно и удачно)—гнул к непременному „побудь слугою около меня“, „поноси за мною платок“ (платок пророка), „подержи надо мною зонтик“ (как опахало над фараоном-царем). В нем было что то врожденное и вдохновенное и гениальное от грядущего „царя демократии“, при чем он со всяким „Ванькою“ будет на „ты“, но только не он над „Ванькою“, а „Ванька“ над ним пусть подержит зонтик“.

Любопытнее всего в суждениях Розанова о Соловьеве замечание, что в Соловьеве было нечто от Антихриста. „Антихрист“

это именно то прозвище, которое дали Розанову клерикальные круги и некоторые критики (напр. Волжский) В том же примечании к письму Страхова В. В. говорит о Соловьеве следующее: „Пошлое — побежавшее по улицам прозвище его „Антихристом“, красивым брюнетом—Антихристом“, не так пошло и собственно сказалось в „улице“ под неодолимым впечатлением от личности и от „всего в совокупности“. Мне брезжится, что тут есть настоящая н о у м е н а л ь н а я истина, настоящая оглядка существа дела: в Соловьева попал (при рождении, в зачатии) какой то осколочек настоящего „Противника Христа“, не „пострадавшего за человека“, „не пришедшего грешные спасти“, а вот готового все человечество принести в жертву себе, всеми народами, всеми церквами „поиграть как шашечками“ для великолепного фейерверка, в бенгальских огнях которого высветилось бы „одно м о е лицо“, единственно м о е и до скончания веков мое, мое“.

Нашумевшая лекция Соловьева об Антихристе показалась Розанову просто скучной. Он реагировал на речь прославленного оратора весьма своеобразно: задремал и упал со стула. В книге „Семейный вопрос в России“ (т. II) он вспоминает об этой лекции и говорит: „Соловьев только казался мудрым человеком, а на самом деле не обладал даже и остроумием. Он начал рисовать Антихриста с каким то электричеством и газетами. Между тем уже теперь можно предвидеть первый вопрос „так называемого“ Антихриста. Заметьте, я говорю „так называемого“ и тут главная моя мысль. Рекомый Антихрист, которого будут порицать, порнографить, спросит непременно добродетельных христиан, как поступали они с детьми своими. Часть, как всем известно попадает в колодцы, проруби, помойные ямы, отхожие места. Не только в сей век, но всегда у христиан было явление, именуемое „незаконно рожденным младенцем“ и это при обстоятельствах, что „что брак есть таинство о младенце“.

Отличаясь от Розанова своим подходом к темам религиозной философии, Соловьев не мог все-таки не чувствовать в

нем „своего“ человека по родству устремлений. Еще до личного знакомства между ними завязалась корреспонденция. Первое письмо Соловьева к Розанову относится к 1892 году, остальные к 1895 г. Влад. Сер-ч писал по поводу упомянутой статьи Шперка: „Дорогой Василий Васильевич. В силу евангельской заповеди (Матф. V, № 44) чувствую потребность поблагодарить Вас за Ваше участие в наглом и довольно коварном нападении на мою книгу в сегоднешнем „Новом Времени“ (приложение). Далее сообщается, что это участие не вызвало в Соловьеве враждебных чувств к В. В. В следующем письме Соловьев из'ясняет, что слово „участие“ нужно понимать в смысле содействия, а не „прямого уговора“ и приносит извинение за неясность предыдущего письма.

Замечательны следующие строки в седьмом письме Соловьева: „Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры в словах Вашей надписи относительно signum Царства Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает эти знаки, залога или предварения Царства Божия, те, конечно, братья по духу, и ничто не возможет разделить их“.

Работая в конце 1895 г. (в бытность в Царском Селе) над статьей о Константине Леонтьеве для „Энциклопедического Словаря“, Соловьев обратился к Розанову за помощью и указаниями. В. В. немедленно прислал ему в Царское Село необходимый материал о Леонтьеве. Сохранилось письмо Соловьева к К. Н. Леонтьеву, не датированное, но, видимо, написанное ранее знакомства Вл. С. с Розановым; в нем говорится: „Очень рад, дорогой Константин Николаевич, что Розанов пишет про Вас: насколько могу судить по одной прочтенной брошюре, он человек способный и мыслящий“. В глазах Соловьева Розанов едва-ли был когда нибудь больше чем „способным и мыслящим“ человеком.

В 1889 г. в „Вопросах философии и психологии“ появилась статья Вл. Соловьева „Красота в природе“. Она вызвала про-

странное рассуждение Розанова на ту же тему („Красота в природе и ее смысл“).

Сопоставление этих статей раскрывает существенное разногласие в эстетической идеологии их авторов. Соловьев полагал, что эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности. Пытаясь понять сущность красоты из ее действительных (наличных) проявлений, он искал в эстетике природы необходимых оснований для философии искусства. Для него нет сомнения, что красота в природе есть воплощение идеи, идею же (или „достойный вид бытия“) он определяет, как „полную свободу составных частей—в совершенном единстве целого“. Наибольшая самостоятельность частей при наибольшем единстве целого представляется Соловьеву критерием достойного или идеального бытия. Основываясь на фактах, собранных Дарвином, Соловьев приходит к выводу; что красота не есть только феномен суб'ективного человеческого сознания, но что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы—животным всевозможных типов и классов. Если же красота в природе об'ективна, то она должна иметь онтологическое основание, т. е. быть чувственным воплощением одной абсолютно об'ективной всеединой идеи.

Красота в искусстве относится к природной красоте так, как человеческое самосознание относится к самочувствию животных.

Ни в статье о красоте, ни в других своих работах Соловьев не дал систематического изложения эстетики, но всюду у него достаточный материал для суждения об его общих взглядах на художественное творчество.

Добро, истина и красота для него торжественны. Для Розанова такая „триада“ была неприемлема. В „Опавш. листьях“ (т. II) он отмечает, что „порок живописен, а добродетель тускла“, „что человек искренен в пороке и неискренен в добродетели“. Может быть, где то там добро, истина и красота синонимы. Но здесь на земле—едва ли.

Соловьев возлагал на красоту главную роль в соединении с Богом-Любовью, в спасении мира. Сделать мир вечным и бессмертным, исторгнуть из него случайность и смерть может только красота, ибо только она может одухотворить материальный мир, без чего не может осуществиться и нравственный порядок. На искусство Соловьев смотрел, как на теургию, как на осуществление божественной идеи. Хаос он считал необходимым фоном всякой красоты, а веществу приписывал косность и непроницаемость в отличие от идеи, представляющей собою положительную всепроницаемость и всеединство (здесь взгляды Соловьева совпадают с учением Плотина)...

Определение красоты, как божественной идеи, вне сравнивания ее с истиной и добром, совпадает со взглядом Розанова на художество в природе. „Взгляните на растение", говорит он в „Оп. листьях" (т. I),—„ну там клеточка в клеточке", „протоплазма" и все такое. Понятно рационально и физиологично. „Вполне научно". Но в растении „как растет оно" есть еще художество. В грибе одно, в березе другое: но и в грибе художество и в березе художество. Разве ель на косогоре не художественное произведение? Разве она не картина ранее, чем ее можно было взять на картину? Откуда вот это-то? Боже от Тебя". Однако, критикуя в статье „Красота в природе и ее смысл" учение Соловьева о природе красоты, Розанов резко отвергает принятую Соловьевым дарвинистическую мотивировку. Вопрос о том, как произошли прекрасные формы в царстве животных и растений, каким образом они ощущаются первыми и что именно это ощущение вызывает собою, нельзя, по мнению Розанова, решать в свете дарвинизма. Он считает грубой ошибкой утверждение, что красота может возникать и погасать по мере надобности для тех существ, которые являются ее носителями.

Красота вовсе не создается преднамеренными усилиями живых существ. Она есть особое проявление органической энергии, проявление, в котором нет ни произвольности, ни преднамеренности. Розанов доказывает, что красота является

усиленным проявлением органической жизни, при напряженном биении ее пульса, по мере возрастания сложности организации, к моменту спаривания, и у пола, деятельно спаривающегося. Половое тяготение, свойственное органическому миру, не подчинено законам времени и пространства, но совпадает со всеми фактами частных проявлений красоты, тогда как Дарвиново об'яснение во всех же частностях с этими фактами расходится. „Прекрасное в живой природе“, говорит Розанов,—„есть отблеск радости об этой носимой в ней жизни, как отвратительное в ней есть содрогание от приближающейся смерти. Самую же жизнь мы рассматриваем, как достигание органическими формами, этою одушевленною материей, вечного источника своего, который, оставаясь в бесконечной дали, некогда затеплил искру этого особенного существования на холодной земле“. Поэтому не следует искать начала органической жизни: оно не в прошедшем, а в будущем. Розанов верит, что оно наступит, и его нужно ожидать, а там, где его ищут обыкновенно, лежит только его конец.

Отходя несколько в сторону от основной темы своей статьи, Розанов касается проблемы гениальности. Гений для него существо, заканчивающее историю, олицетворяющее историю, олицетворяющее собою некую предельность: „Ощущение странной тоски есть, кажется, главное и самое общее, что мы испытываем, созерцая его“. Гений одинок и нет ничего, что могло бы разрушить преграду, которая отделяет его от людей. „Нет никакой в нем недоверчивости, и, видя души людей, как прозрачные, он хочет ввести их в свою душу, но здесь впервые чувствует, что какое то взаимное несоответствие психического строя препятствует этому“.

Поразительно, как сильно выражена в этих строках судьба самого Розанова; пророчески звучат дальнейшие слова: „по мере того, как проходит время, эта жажда человеческой близости становится неутолимее, желание примкнуть к чужой жизни страстнее; он срывает с себя все, что людям могло бы показаться в нем странным или враждебным, глубоко хоронит

в себе всякое отличие и хочет войти к ним, как равный или даже как нисший. Напрасные усилия: своим проницающим взглядом он ясно видит, что даже жалкого и смешного (каким они всегда любят ближнего, за что прощают ему все глупое и даже злое) е г о они не любят и смех, который он внушает им собою, не есть смех примиряющий и сближающий, но враждебный и отталкивающий". Здесь перед нами Розанов, за много лет до появления „Уединенного" и „Опавших листьев", предвидящий свою позднейшую жажду обнажения и унижения.

Вместе с тем, Розанов здесь не утверждает еще, как позже „гениальности" половой жизни. Напротив, он отмечает, что „всякий раз, когда творчество было безусловно гениально— безусловно пресекался в творящем род его". На примерах Фидия, Рафаэля, Бетховена, Платона, Аристотеля, Декарта, Бэкона, Спинозы, Лейбница, Канта, Коперника, Кеплера, Ньютона (добавим от себя Шопенгауэра, Ницше, Вейнингера, Лермонтова, Гоголя, Вл. Соловьева, Блока) и др. мы убеждаемся в бессилии гения создать потомство. Розанов отмечает, что в чертах гения, красотой созданий которого мы любуемся, мы часто видим померкнувшей обыкновенную физическую красоту, а иногда встречаемся с чем то отвратительным, отталкивающим, (напр. в лице Декарта и Канта). „Тусклый, чаще всего неподвижный взгляд, неприятное сложение рта. Наконец, как замечают многие, нарушение самой симметрии в строении лица— все вскрывает перед нами самую глубь гения, в котором органический строй человеческого тела уже пошатнулся, ослабел центр его и не сдерживает больше в гармонии соответствующих друг другу частей... Все полно смерти и разрушения".

Известно, что впоследствии Розанов провозгласил, что пол есть источник всякой гениальности, что из половой жизни лучатся все прозрения философские, все открытия, все таланты. Розанов не дал формулы, примиряющей эти противоречивые взгляды на природу гениальности, но она напрашивается сама собой: гений есть эквивалент сексуальности, — гений и пол

питаются одной и той же энергией; Libido sexualis гения может быть очень сильно, но не дает видимых (телесных) плодов, сосредоточиваясь на духовной производительности. Это совпадает с тем пониманием гениальности, которое выразил Соловьев в „Оправдании добра“. Гениальные люди по Соловьеву суть те, у которых живая творческая сила не тратится вполне на внешнее дело плотского размножения, но идет еще и на внутреннее дело духовного творчества. Гениальный человек увеличивает себя самого и сохраняется в общем потомстве. Истинный гений остерегает всех и каждого „от процесса дурной бесконечности, через который земная природа вечно, но напрасно строит жизнь на мертвых костях“.

Итак, если Розанов и прав, что физическая природа гения насыщена смертью и разрушением, то это распадение телесного имеет глубокий смысл: оно освобождает дух из оков материи. В этом есть высшая целесообразность. Недаром указывает Розанов, что причинность только участвует в устройстве мироздания, устрояет же его целесообразность (Loco citato). Этим ограничивается сходство во взглядах Розанова и Соловьева.

По мере того, как Розанов все шире и глубже развивал свою религиозно-нравственную идеологию, все отчетливее обнаруживалась разница между его взглядами и учением Соловьева. В № 1 „Русского Вестника“ за 1894 г. Розанов напечатал статью „Свобода и вера“, вызвавшую со стороны Соловьева резкую отповедь под названием „Порфирий Головлев о свободе и вере“. Эпиграфом в своей статье Соловьев взял слова М. Салтыкова:

> „Ишь ведь как пишет, ишь как языком то вертит... Ни одного то ведь слова верного нет. Все то он лжет, и „милый дружок маменька“, и про тягости то мои, и про крест то мой... ничего он этого не чувствует“...

И сентенцию Гоголя: „Со словом нужно обращаться честно“.

Соловьев обрушивается на Розанова, выступившего против веротерпимости, называет его статью „елейно-бесстыдным пустословием“, а самого автора „Порфирием Головлевым, более известным под именем Иудушки“.

Розанов защищал суб'ективный смысл свободы и отрицал универсальную значительность ее; считая, что только вера имеет право на свободу, он пришел к заключению, что „только не веруя ни во что, можно требовать для всего свободы“. Даже та доля свободы, которая допущена церковью, безмерно превышает, по мнению Розанова, свободу, допустимую по существу церковной веры.

За это Соловьев не постеснился назвать его „еще более лживым, чем скотоподобным“. „Всякий человек должен защищать истину, в которую верит“.

„Вопрос был и есть только в том“, говорит Соловьев,— „**какими средствами** должно защищать истину веры— духовным ли оружием или насилием“.

Розанов ответил, что в статье своей „непреднамеренно произнес слово, которое всего нужнее было произнести“: „да, нетерпимость; да, непонимание законов умирающего, да, отвращение к нему до неспособности переносить его вид“. Русский народ суров, строг и нетерпим, и это в нем главное.

В статье „Конец спора“ Соловьев вновь высмеял Розанова (и заодно Л. Тихомирова), пересказав „Последнее слово“ Розанова в предположении, что оно доставит „читателям несколько минут невинного удовольствия“.

Еще более резкой разницей отмечены взгляды обоих мыслителей на пол и половую жизнь. Соловьев видел существенное и нравственное зло в самом плотском акте, через который мы утверждаем собственным согласием темный путь природы, **постыдный** для нас своею слепотой, **безжалостный** к отходящему поколению и **нечестивый** потому, что это поколение наши отцы“ („Оправд. добра“). Соловьев усматривает в половой жизни какое-то великое противоречие, роковую антиномию, которую мы должны во всяком случае признать, даже если бы не имели надежды

разрешить ее. Деторождение добро, а совокупление зло,—вот та антиномия, против которой негодующе восстает Розанов. Для него coitus—священен. „Как бы Бог хотел сотворить акт; но не исполнил движение свое, а дал его начало в мущине и начало в женщине. И уже они оканчивают это первоначальное движение. Отсюда его сладость и неодолимость". („Оп. Л." т. I). И Розанов утверждает, в качестве канона, положение, что „всякий оплодотворяющий девушку сотворяет то, что нужно" („Оп. Л.", т. II). Разногласие во взглядах на половую жизнь не вызвало, однако, специальной полемики между Соловьевым и Розановым. Зато жаркий спор загорелся между ними по поводу Пушкина.

В сентябрьской книжке „Вестника Европы" за 1897 г. Соловьев поместил статью „Судьба Пушкина", в которой высказал мысль, что поэт „законно заслужил свою смерть":

„Жизнь его не враг от'ял,
Он своею силой пал,
Жертва гибельного гнева".

Пушкин, по мнению Соловьева, окончил свое земное поприще сообразно своей собственной воле, пал своим отказом от той нравственной силы, которая была ему доступна. Пушкин „злоупотреблял своим талантом и унижал свой гений для дурного дела обиды". Если бы дуэль была „успешна" для Пушкина, он не мог бы продолжать свое художественное творчество, требующее нравственной чистоты. Поэтому судьбу Пушкина Соловьев считает „доброю" и разумною. Розанов ответил на это статьей „Христианство пассивно или активно"? (перепечатанной в 1899 г. в сборнике „Религия и культура"). Ему кажется, что Соловьев неверно понял христианство, осудив поэта за активность. «Человека гонят, травят в обществе и когда загнанный домой, он оборачивается у порога—он видит, что преследователи не щадят и его крова и следуют за ним по пятам—„Attendez! je me sens assez de force pour tirer mon coup. Тут весь Пушкин в простоте и правде своего гнева".

Розанов находит, что Соловьев, собирая документы лживости Пушкина (два отзыва об А. П. Керн—„гений чистой красоты“ и „наша вавилонская блудница“, а также нарушенное обещание Николаю І-му—известить его о дуэли), ошибается в психологическом их анализе. Розанов недоумевает, как не сумел Соловьев „войти в мир той взволнованности, того смятения чувств, которое пережил поэт, того необыкновенно сложного круга воспоминаний, взгляда на себя и свою историческую миссию“...

„Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после умереть“.

В этих словах, по мнению Розанова, об'яснена во всех подробностях истинная, а не выдуманная судьба Пушкина.

Наконец, в последний раз ополчился Соловьев на своего идейного противника по поводу чествования столетия со дня рождения Пушкина. В №№ 13—14 „Мира Искусства“ за 1899 г. появилась „Заметка о Пушкине“ Розанова, в которой критик умалял значение великого поэта, противопоставляя ему Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Л. Толстого. Пушкин обладал трезвым умом, свободно располагавшим „набором октав и ямбов“; душа его была „резонатором всемирных звуков“. „Мир стал лучше после Пушкина“. „Но после Пушкина мир не стал богаче, обильнее“ (типичная для Розанова небрежность в выражении мыслей: он словно забывает о том, что улучшение и есть подлинное обогащение, что дело в качестве, а не в количестве). Вспоминая, как Гоголь в первый раз пришел к Пушкину и услышал от слуги ответ: „Барин всю ночь играл в карты“, Розанов спрашивает: „кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал:

„Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит“.

Соловьев признается, что после этого вопроса его не удивил бы и такой: „Кто знает, та ночь, в которую родился Мухаммед, не была ли она та самая Варфоломеева ночь, когда Александр Македонский поразил мавританского дожа Густава Адольфа на равнине Хереса, Малаги и Портвейна?“ („Особое чествование Пушкина“). Сопоставление, сделанное Розановым, так же мало интересно, как и то, что „когда Пушкин писал „Роняет лес багряный свой убор“, Гоголь, может быть, строил гримасы какому-нибудь своему нежинскому профессору, а Лермонтов бегал за своими кузинами“.

В ответ на мысль Розанова о „пифизме“ и „оргиазме“ Лермонтова, Соловьев называет его самого „оргиастом, пификом, корибантом, а проще—юродствующим“.

Заметка по поводу юбилея Пушкина была приложена к 3-му изд. стихотворений Вл. Соловьева. В предисловии автор иронизирует над „читателями, которым даже стихи г. Брюсова и проза г. Розанова не могут дать несколько мгновений тихой радости“ (насмешка—имеет обратный смысл).

В полемике с Соловьевым Розанов был более одинок, чем его противник, на стороне которого была почти вся прогрессивная журналистика. В тон Соловьеву высмеивали Розанова некоторые друзья философа, напр., князь С. Н. Трубецкой. Отвлекаясь от этой полемики, уже покрывшейся „паутиной“ историзма, в сторону глубоких коренных мотивов философии Соловьева, мы находим известное оправдание его ироническому, а иногда и злому тону. Учение положительного всеединства, защищаемое Соловьевым, рассматривает все отдельные философские начала, все отдельные политические и нравственные принципы, как недостаточные и ложные, поскольку они утверждаются в своей отвлеченности и берутся в своей исключительности. Принимая одну сторону всеединой истины за целое и утверждая ее, как самодовлеющую, безусловную и полную истину, мы обращаем ее в ложь и приходим к внутренним противоречиям.

В этом уверении Соловьев столь-же „прав“, сколько и „виноват“; вместе с тем здесь и обвинение, и оправдание Ро-

занова. Мы вновь убеждаемся в антиномичности последней истины, в конститутивном характере матефизических противоречий.

В самом деле: утверждая половую жизнь, как примат и первоисточник жизни духовной, Розанов возводит отдельный принцип органической жизни на степень основного закона бытия. Обожествляя пол, Розанов превращает религию в сексуальный пантеизм. Вместе с тем, он старается свести к своей теории сексуализма все многообразие духовного опыта, всю феноменальную жизнь, над которой возвышается единственный и вечный нумен—П о л. Другими словами, утверждая сексуализм в его отвлеченности, Розанов одновременно подымает его на высоту религии, т.-е. „положительного всеединства". Соловьев же, добросовестно усиливаясь „притти в разум истины" и показать ее положительное конкретное всеединство, отмежевывается от всего, что представляется ему „исключительным" и „отдельным", забывая, что „все дороги ведут в Рим", и что восхождение от частного к общему есть неизменный удел философской мысли. Соловьев тяготеет к Новому Завету, Розанов к Ветхому. Возводя евангельское учение в общеобязательное исповедание, Соловьев впадает в такое же утверждение отвлеченного и отдельного, как и Розанов с его культом плоти.

„Трудна работа Господня", говорил Влад. Серг. на смертном одре. В трудной работе ошибки неизбежны. Сквозь всю паутину разногласия, опутывающую идеологическое взаимоотношение Соловьева и Розанова, просвечивает единообразие их конечных целей. „Трудная работа" влекла их всю жизнь к тем „таинственным и чудным берегам", где встречи не омрачаются рознью. Оба могли бы спросить друг друга: „О, что значат все слова и речи, этих чувств отлив или прибой перед тайною нездешней нашей встречи, перед вечною недвижною судьбой"? Каждая страница Розанова, посвященная вопросам пола, как бы говорит словами Соловьева:

„Знайте же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет".

Розанов боготворил эту Вечную Женственность, но любил и тленное тело. Разница между ним и Соловьевым заключается, в сущности, лишь в том, что первый воспринимал Женственность в образе Изиды или Астарты, второй же в образе Софии, „Премудрости Божией“ или Марии „Девы Радужных Ворот“.

Оба знали, что „ex oriente lux“, но по разному воспринимали этот свет. Оба влеклись к тайне мира, но один искал ее на земле, в земной плотской жизни, другой не веровал „обманчивому миру“ и обращал свой взор к далекой лазури. Соловьев мечтал о свидании с „вечной подругой“ и с цилиндром на голове поджидал ее в Африканской пустыне. Розанов предпочитал „odorer et baiser l'organe sexuelle feminin“, а, если нельзя, то хоть пососать вымя коровы (последнее желание подробно и страстно выражено в одном из его писем ко мне). Перед нами два символа: христианин-подвижник, протягивающий руки к небу, и язычник, целующий землю.

Целая полоса жизни была связана у Розанова с Соловьевым. Со смертью Соловьева для него наступила как-бы новая полоса, с новыми волнениями и тревогами, уже не с тем полемическим задором, но, может быть, с еще большим идейным пафосом.

III.

К концу 1890-ых г.г. Розанов сблизился с редакцией „Нового Времени“. Предложение сотрудничать в „Новом Времени“ Розанов получил впервые в 1893 году, но как то не заметил этого предложения. В примечании к письму (1-му) А. С. Суворина (от 17 августа 93 г.) Розанов пишет: „Только теперь в корректуре замечаю это ясное предложение „писать“, которым я, необ'яснимо почему не воспользовался до 1899 г., т. е. целых шесть лет (смотри дату следующего письма); между тем, как эти шесть лет были положительно отравлены (и для писательской деятельности) беспросветной материальной нуждой. Простая догадка „Заметки“ спасла бы все; но я не умел в то время писать „Заметок“, все выходили „трактаты“. Об одном из таких трактатов А. С. Суворин пишет в следующем письме к Розанову, помеченном 12 августа 98 года: „Не то проповедь с церковной каѳедры, не то глубокая философия, требующая комментарий. Согласитесь, если Буренин и я—мы не понимаем, то и огромное большинство читателей—тоже не поймут“.

К Суворину Розанов относился всю жизнь с глубоким уважением, ценя в нем „редкую скромность и благородство“. Как иллюстрацию „благородства Суворина“, он приводит следующий факт: после смерти Михайловского Розанов написал о нем довольно теплую статью, на том основании что „de mortuis etc“ (хотя полемизировал с ним в былое время ожесточенно). Суворин беспрекословно пропустил эту статъю, хотя мог бы под каким либо предлогом, отклонить похвалу недругу.

В начале увлечения Египтом Розанов писал в „Нов. Времени“ под псевдонимом „Ибис“. Статьи были чрезвычайно разнообразны по темам и богаты содержанием, но Суворин нередко вынужден бывал протестовать против отдельных резкостей и неровностей в них.

Когда вышла в свет книга „В мире неясного и нерешенного“, Э. Л. Радлов обратил внимание Д. Кобеко на „нецензурные“ заключительные страницы книги. Кобеко возмутился и сообщил об этом С. Ю. Витте. Витте (тогда министр финансов) послал ее К. П. Победоносцеву, с просьбой обратить внимание на последние три страницы. Победоносцев препроводил книгу главноуправляющему по делам печати—Н. П. Звереву. И Витте и А. А. Столыпин приняли Розанова за „ужасного порнографа“.

В результате книга была арестована через месяц после отпечатания.

„Между тем“,—пишет Розанов (в примечании к 31-му письму Суворина),—„египетская религия „распускающегося бутона“ есть полное отрицание,—и до корня, до скончания веков отрицание—„порнографии, как мещанского и низменного, сального и хулиганского отношения к полу, к половым точкам, к половым действиям. Это есть „преображенный пол“, где предметы и имена те же, что в „порнографии“, но и вместе совершенно „другие“, под другим аспектом“, в „ином духе“. Все между собою так же относится, как „петербургский лупанарий“ и, положим, история, рассказанная о Воозе и Руфи, или о Товии и дочери Рагуила. Русским все это можно объяснить, заметив, что в известные минуты „одно“ творится Саниным Арцыбашева и Татьяной Пушкина, но в сотворенном какая же разница! И одной в новобрачии и в веселом доме, но какая опять разница. Общество, критика и, наконец, оффициальная цензура никак не могут и не хотят различить этой разницы, обвиняют меня в „лупанаре“, когда я говорю об египетском „бутоне“ (новобрачии)“.

Очень определительна для Розанова его беседа с М. П. Соловьевым (тогдашним главноуправляющим по делам печати), о которой

он рассказывает в том же примечании к письму Суворина: „Однажды весной, он (М. П. Соловьев) гулял со мной в саду. Кусты смородины расцветали,—и взяв цветок в руки, Михаил Петрович и любяще и иронически проговорил:—Вот В. В.,— Вы и тут (в расцветающем цветке) увидите религию фаллоса“.

Я был поражен, но уклончиво улыбнулся и ничего не ответил. Это было конечно так. В Египетских храмах, в нижнем пояске их, так и изображалось: цветок в бутоне, цветок с раскрытой чашечкой,—бутон—цветок, бутон—цветок... Это суть всего, как крест есть символ и суть христианства. И когда, решив перемену всех взглядов, я ходил по душным корридорам контроля, то душа моя как бы слышала стих:

Запою песнь новую, песнь неслыханную,
Облобызаю (духовно) уды врагов моих,—
Расцвечу смоковницу засыхающую.

С другой стороны, желая и для себя решить вопрос об отношении христианства „ко всему этому“, я спросил Михаила Петровича (чрезвычайно начитанного):—„Христианство и пантеизм,—как Вы думаете, Михаил Петрович?“... Полная противоположность,—ответил он.—Если полная противоположность, то значит эти две вещи, два духа, две веры взаимно и одна для другой р а з р у ш и т е л ь н ы“.

„Отсюда совершенно очевидно, что Соловьев вполне понимал, „к чему дело клонится“, но н е д е л а л м н е н и о д н о й ц е н з у р н о й п р и д и р к и. Все то, что Соловьев понимал и видел, видел и Победоносцев (они были довольно интимны, особенно в начале Соловьев). Но и Соловьев от меня лично, и Победоносцев (через Рачинского) знали о л и ч н о м м о т и в е этого поворота всех мнений“,—и знали, что я тут нравственно прав, а в учреждениях и Законах Церкви есть небрежная недоделанность, а может быть и неясность и более, чем только неясность, в самом у ч е н и и и д у х е. Вообще же знали, что я нравственно прав, и как оба были очень нравственные люди, вполне благородные, то не поставили ни одного

препятствия, и никакой задоринки мне в писаниях, хотя могли бы".

В 1902-м году появились два сборника статей Розанова, изданные Перцовым: „Природа и история" и „Религия и культура". Годом позже—двухтомный труд „Семейный вопрос в России". „Легенда о Великом Инквизиторе" вышла в 1906-м году третьим изданием. В том же году появилось—„Место христианства в истории", также третьим изданием, и было переведено на болгарский язык. В 1909 году вышла в свет—„Русская Церковь" и была переведена на немецкий язык (в сборнике „Russen uber Russland", Франкфурт на Майне), на французский (Париж) и на итальянский (Милан). В том же году—„Когда начальство ушло" и „Итальянские впечатления".

В 1911 году появилась первая часть книги—„Метафизика христианства", („Темный Лик",—книга в целом была запрещена) и затем—часть вторая „Люди лунного света", которая в 1912 году вышла вторым изданием.

В 1912 году—„О подразумеваемом смысле нашей монархии" и единственная в своем роде книга—„Уединенное", продолжением которой явились „Опавшие листья" (т. I, 1913 и Короб II-й, 1915).

В предсмертных записках Суворина (карандашом на листочках) читаем: „Уединенное" читал в Москве и одобрял,—не все. „Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает,—главнейшим образом, что чувствует. А это было бы очень интересно".—„Неужели книжка арестована? Не понимаю за что".

Три последние книги дают обильный материал для обрисовки личности их автора. В сжатых и образных отрывках и заметках запечатлевает Розанов отдельные значительные моменты своего бытия и бытия близких ему людей. „Уединенное" и „Опавшие листья" пронизывает тот „дух мелочей, прелестных и воздушных" (М. Кузмин), который лучше всякой величественной летописи отражает и душу автора и „душу эпохи". Читателю небрежному и невнимательному эти книги дадут

очень мало, иному ничего не дадут. Но тот, кто возьмет своим девизом проникновенный лозунг мистиков — „ab exterioribus ad interiora“, тот скоро поймет, что Розанов один из тех немногих людей, в которых „постоянно—бывающее“ (fiens) навсегда и бесповоротно преодолено „вечно-сущим“ (ens).

Постигая Розанова „от внешнего к внутреннему“, мы почувствуем, что нужна поистине гениальная проницательность, гениальная прозорливость, чтобы в тысяче мелких, будничных событий, мимо которых почти все проходят с равнодушным лицом, увидеть отпечаток „мира иного“, найти глубокий смысл, угадать непреходящее значение. Мы поймем, что автор этих сумбурных и несвязных заметок, написанных то „за нумизматикой“, то „на обороте транспаранта“, то „на улице“, то даже „на подошве туфли“ (во время купанья), что автор этот совершенно незаурядный наблюдатель, мыслитель в полном и высоком значении слова.

В „Уединенном“ читаем: „Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение“. У Розанова нет жажды славы, почета и восхваления. „Ни о чем я не тосковал так, как об уничижении. „Известность“ иногда радовала меня,—чисто поросячьим удовольствием. Но всегда это бывало не на долго (день, два); затем вступала прежняя тоска—быть, напротив, униженным“. („Уед.“). Но нет у него и той напускной скромности, в которой больше лицемерия, чем добродетели. Цену себе он знает прекрасно: „там может быть я и дурак“ (есть слухи), может быть и „плут“ (поговаривают), но только той широты мысли, неизмеримости „открывающихся горизонтов“, ни у кого до меня как у меня не было. И „все самому пришло на ум“,—без заимствований даже иоты. Удивительно. Я прямо удивительный человек“ („Уед.“). Обвиняют Розанова в лукавстве, непостоянстве, даже лживости. Вот что пишет он о лживости: „Удивительно, как я уделывался с ложью. Она никогда не мучила меня. И по странному мотиву:—„А какое Вам дело до того, что

я в точности думаю", чем я обязан говорить свои настоящие мысли". Глубочайшая моя суб'ективность (пафос суб'ективности) сделала то, что я точно всю жизнь прожил за занавескою, не снимаемою, не раздираемою. „До этой занавески никто не смеет коснуться". Там я жил; там, с собою, был правдив" (Уед.). Отсюда, из глубочайшей суб'ективности писателя, вытекает его отношение к нравственности. „Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали".

„Миллионы лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет; и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй „по морали". Нет, я ей скажу: „гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй добренькая, гуляй, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу.

„Ибо жизнь моя есть день мой,—и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы" (Уед.). И еще о нравственности: „Даже не знаю, через „ѣ" или „е" пишется „нравственность". И кто у нее папаша был—не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее—ничегошенько не знаю" (Уед.).

Но пренебрегая ходячим понятием о нравственности, Розанов всем существом своим влечется к религиозным проблемам. Для него они представляют жгучий интерес, интерес единственный по глубине и остроте своей.—„Знаете ли Вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, с тем не для чего произносить „А" споров, разговоров. Мимо такого нужно просто пройти. Обойти его молчанием. Но кто это знает? Многие ли? Вот отчего в наше время почти не о чем и не с кем говорить".

Позитивизм и все, что близко соприкасается с позитивизмом, для Розанова отвратительно.

Загадка влечения Розанова к исследованию сексуальной жизни приоткрывается в следующих словах: „Связь пола с Богом—большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом,—выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя и а-теистами. Те самые господа, как Бокль и Спенсер, как Писарев или Белинский, о поле сказавшие не

больше слов, чем об Аргентинской республике, и, очевидно, не более о нем и думавшие, в то же время до того изумительно атеистичны, как бы никогда до них и вокруг них и не было никакой религии" (Уед.).

Нападки на порнографию Розанова участились с появлением „Опавших листьев". Исходили они преимущественно от тех, кому скверной и мерзкой кажется половая жизнь и культ пола. Для Розанова, напротив, половая жизнь овеяна благоуханием религии, сияет ярче солнца. Нападающим на него можно напомнить слова Апостола: „нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что либо нечистым, тому нечисто" (Рим. 14, 14). И еще: „для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть" (Тит. I. 15).

Пренебрежение к „нравственности", свойственное Розанову, не означает пренебрежения к правде. П р а в д а (кстати понятие чисто русское, точно не переводимое ни на один язык в мире), есть сочетание двух понятий: истины и справедливости. Ни в чем не сказывается сущность Руси и русского духа так, как сказывается она в неуклонном влечении к „правде". И для Розанова, человека насквозь русского, со всеми гениальными особенностями и гениальными недостатками, свойственными исключительно русскому духу,—правда выше всего.

„Правда выше солнца, выше неба, выше бога: ибо если и бог начинался бы н е с п р а в д ы—он не бог, и небо—трясина, и солнце—медная посуда" (Уед). Никто не станет обвинять Розанова в пошлости, но часто обвиняют его в цинизме. И это почти похвала, потому что цинизм и пошлость по существу—категории разнородные: посредственные натуры не способны на цинизм, но прекрасно владеют пошлостью. Цинизм все-таки требует для произрастания хорошей почвы. Цинизм, сказал бы я, вырастает на почве духовного обилия. Это болезненная реакция на уродства и гримасы жизни... Реакция болезненная, но требующая смелости и остроумия. Близорукие наблюдатели зачастую смешивают цинизм с пошлостью. По-

шлость можно сравнить с крапивой или чертополохом, или каким-нибудь иным сорным растением, повсеместным, будничным и мещанским. Цинизм можно сравнить с кактусом, причудливое разнообразие форм которого, при всем своем уродстве, очаровательно. „Цинизм от страдания?.. Думали ли Вы когда нибудь об этом“?—спрашивает Розанов в „Уединенном“—и, напечатанный на отдельной странице, в двух строчках, вопрос этот как бы окружен безмолвием. Никто не думал об этом до „Уединенного“.

В Коробе 2-м „Опавших листьев“ читаем: „Есть люди, которые рождаются „ладно“ и которые рождаются „не ладно“. Я рожден не ладно, и от этого такая странная колючая биография, но довольно „любопытная“. И, чувствуя это „не ладно“, писатель знает, что от него только „смута“. „Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... Но не хочу“ („Опавшие Лист.“, т. II). „Хочу ли я чтобы очень распространилось мое учение? — Нет. Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон“ (Уед.).

О своих критиках (коим в настоящее время имя легион) Розанов говорит: „Никакой угадки меня не было у них. То как „Байрон“ взлетел куда то, то как „Сатана“, черный и в пламени. Да ничего подобного: добрейший малый. Сколько черных тараканов повытаскал из ванны, чтобы случайно отвернув кран кто-нибудь не затопил их. Ч. (К. Чуковский—Э. Г.) был единственный, кто угадал, точнее сумел назвать „состав костей“ во мне, натуру, кровь, темперамент. Некоторые из его определений—поразительны. Темы?—да они всем видны, и по существу, чорт ли в темах. „Темы бывают всякие“, скажу я на этот раз цинично. Но он не угадал моего интимного. Это — боль, какая-то беспредметная, беспричинная, и почти непрерывная. Мне кажется, это самое поразительное, по крайней мере—необ'яснимое. Мне кажется, с болью я родился“... (Оп. Л.“, т. II). В „Уединенном“ читаем:—„Я не нужен“, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен“.

Не об'являя себя самонадеянным обладателем высоких истин, Розанов сознается: „Я не хочу истины, я хочу покоя" („Оп. Лист.", т. I). Не только не манит его отвлеченная истина, но и к темам он равнодушен: „Я пролетал около тем, но не летел на темы".

„Самый полет—вот моя жизнь. Темы—„как во сне".

Одна, другая.. много... и все забыл. Забуду к могиле. На том свете буду без тем. Бог меня спросит:

— Что же ты сделал?—Ничего („Оп. Л.", т. I). Это „ничего" нужно понимать как отвращение к догматизму, к планомерности и системе... Творчество Розанова представляет собою что-то хаотическое. Даже со стороны невозможен систематический подход к этому творчеству, так раздроблены, раскидисты его сочинения. Нередко основная мысль прячется в них за грудой мелких набросков и заметок. Философия Розанова есть нестройное нагромождение торопливых мыслей. Зато в ней нет пагубного педантизма, догматической мертвечины, отличающих большинство философских трудов. Живая мысль, многоликая, многоцветная и многозвучная пульсирует в каждой строке Розанова. В мысли этой есть болезненный надлом, искажение, в ней много „достоевщины", глубоки ее падения и высоки взлеты. Элемент „достоевщины" в Розанове так силен, что одно время наша критика склонна была рассматривать Розанова, как „отрог" Достоевского, даже как подражателя. На самом деле Розанов вообще не был способен к подражанию. С Достоевским его связывало коренное духовное родство.

Много раз и в печати и в беседе с друзьями В. В. Розанов говорил о своей тесной, интимной, психологической связи с творчеством Ф. М. Достоевского. Помню, однажды, любовно поглаживая том „Дневника писателя", В. В. сказал: „научитесь ценить эту книгу. Я с ней никогда не расстаюсь". Достоевский всегда лежал у него на столе.

Печалуясь, о том, что прогресс наш, по истине, может быть встречен словами morituri te salutant из уст одиночек мыслителей, Розанов утверждал, что если бы миллионная толпа

„читающих“ теперь людей в России, с таким же вниманием, жаром, страстью прочитала и продумала из страницы в страницу Толстого и Достоевского, как это она сделала с каждою страничкою Горького и Л. Андреева, то общество наше выросло бы в страшно серьезную величину, потому что даже без всякого школьного ученья, просто передумать всего Толстого и Достоевского, значит стать как бы Сократом или Эпиктетом (тоже „не кончившие курса в гимназии“ („Оп. Л.“). Свое личное впечатление от творчества этих двух великанов русской литературы Розанов формулировал так: „Толстой удивляет, Достоевский трогает“. Произведения Толстого он сравнивал с основательно-продуманными зданиями. О Достоевском же говорил, что это „всадник в пустыне с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает стрела“ („Оп. листья“).

Розанову не нравилось стремление Толстого убеждать, поучать. В Толстом для него не было ничего дорогого; а Достоевский жил в нем. Музыка Достоевского всегда пела в его душе. Зная симпатию В. В. к Достоевскому, я однажды спросил его: „Кто из героев Достоевского Вам больше всего по душе, чья психология Вам ближе и роднее“? Не задумываясь ни на минуту, В. В. ответил со свойственной ему порывистой и вместе с тем мягкой интонацией: „конечно—Шатов“.

Несомненно, что при всем пресловутом „антихристианстве“ и „ветхозаветности“ Розанова, он любил Христа той живой, страстной, на веки преданной любовью, какою можно любить только единственное, несравненное, бесподобное существо. Ничего не значит, что в глазах Розанова христианство испепелило мир, иссушило цветы радости, что Голгофа затуманила солнечные дали вселенной: потому то и прогоркла жизнь, что Иисус Сладчайший был так несказанно сладок. Вот затаеная мысль Розанова, вот его утешение. Да, он любил „весенний зеленый шум“ и „клейкие листочки“ березы, да, он боготворил чрево плодоносящее (кстати сказать и Достоевского любил за то, что это, по его выражению, „беременный, чресленный писатель“); Розанов скорбел, что Христос никогда не смеялся,

не улыбался, никогда не брал в руки лиры или свирели, что в христианстве нет музыки и пения, что жизнь плоти изгнана из круга евангельских радостей, но в этом своем удалении от Христа, в этом своем отрицании он так ясно, так чутко понимал индивидуальное обаяние Христа и близко подходил к интимнейшим чертам личности Иисуса. Для „порицающего“ Розанова Христос становился таким же нужным и родным, каким он был для „утверждающего“ Достоевского.

С разных сторон, но одинаково близко подошли к Христу Розанов и Достоевский. Некоторый намек на эту близость, психологическое подобие такой близости заключается в той мистической влюбленности, которую иные люди питают друг к другу, нередко безнадежно, но всегда упорно и безмерно. Такая влюбленность есть в отношениях Шатова к Ставрогину, такою любовью любил Алеша Карамазов своего старца. Но это только намекающие образы и подобия того, что носили в тончайшей сложности душ своих Достоевский и Розанов.

Сложность, запутанность религиозной позиции Розанова состояла в том, что он, глубоко интимно и мистически чувствуя Христа, не принимал Его рассудком. Но нет никакого сомнения, что духовная связь Розанова с Достоевским заключалась именно в этом чувстве касания Христа. Разница только в том, что в религиозных углублениях Достоевского оно раскрывается в положительной форме, а в проникновенном антихристианстве Розанова оно выражено в отрицательной форме. Перед нами две стороны одной и той же медали или, лучше сказать, две поверхности одного и того же полушария — выпуклая и вогнутая. Одна озарена пепельным лунным светом и обитают на ней „люди“ лунного света, другая озарена подземным пламенем, согрета раскаленною лавою, которая, подобно крови в живом теле, клокочет в земном шаре, свершающем извечно предначертанный путь в холодной мировой пустыне.

IV.

Мы наметили три параллели: Розанов—Толстой, Розанов—Вл. Соловьев, Розанов—Достоевский. Эти параллели с убедительной наглядностью раскрывают перед нами своеобразие Розанова, его „единственность“ и органическую неспособность к подражанию, заимствованию, повторению чужого. Если в идеях его и можно найти совпадения с мыслями других писателей, то они всегда непроизвольны. С особенной силою выразилось своеобразие Розанова в его стиле. Как бы ни относиться к воззрениям Розанова, нельзя не поддаться обаянию его стиля, который не лишен чисто грамматических ошибок и неточностей, но замечательно силен и меток, цветист и образен. После Пушкина и Тургенева, создавших, кажется, предельную выразительность русского языка, Розанов нашел новые его красоты, сделал его совсем иным и притом без всякого усилия, без заботы о стиле. „Уединенное“ и „Опавшие листья“ являются вершинами стилистического мастерства Розанова. „Лучшее во мне—„Уединенное“,—писал Розанов автору этих строк (в первом своем письме, 16 июля 1915 г.). В другом письме, написанном осенью 1918 г., т.-е. незадолго до смерти Розанова, он подробно говорит о своем стиле, о значении и смысле „Опавших Листьев“: „... таинственно и прекрасно, таинственно и эгоистически в „Опавш. Лист.“ я дал в сущности „всего себя“. Ведь и „Апокалипсис“ есть „Опав. Листья“—на одну определенную тему—инсурекция против христианства, и даже такая бесконечно обширная тема, как „Из восточных мотивов“, вскрывающая тайну всех древних религий,

И я прямо потерял другую какую-либо форму литературных произведений: „не умею“, „не могу“. С тем вместе это есть самая простая и единственная форма. Проще чего нельзя выдумать. „Форма Адама“—и в раю, и уже—после Рая. „После Рая прибавился только стул, на который сел писатель и стал писать. В сущности, что делают поэты, как не пишут только „Оп. листья“. И Вы, пиша о Розанове, в сущности вовсе не о нем пишете, а тоже свои опавшие листья: что я „думаю“, „чувствую“, „чем занят“, „как живу“. Это форма и полная эгоизма и без эгоизма. На самом деле человеку и до всего есть дело, и — ни до чего нет дела. В сущности он занят только собою, но так особенно, что, занимаясь лишь собою, — занят вместе целым миром. Я это хорошо помню, с детства, что мне ни до чего не было дела. И как-то это таинственно и вполне сливалось с тем, что до всего есть дело. Вот по этому-то особенному слиянию эгоизма и без эгоизма — „Опав. листья“ и особенно удачны.

Не помню кто, Гершензон или Вяч. Иванов мне написал, что „все думали, что формы литературных произведений уже исчерпаны“, „драма, поэма и лирика“ исчерпаны и что вообще не может быть найдено, открыто, изобретено здесь, и что к сущим формам я прибавил еще „11-ую“ или 12-ую. Гершензон тоже писал, что это совершенно античио по простоте, безыскуственности. Это меня очень обрадовало: он знаток. И с тем вместе что же получилось: ни один фараон, ни один Наполеон так себя не увековечивал. В пирамиде—пустота, не наполненная, Наполеон имел безбытийственные дни. Между тем, „Оп. листья“ доступны и для мелкой жизни, мелкой души. Это таким образом для крупного и мелкого есть достигнутый предел вечности. И он заключается просто в том, чтобы река текла как течет, чтобы было все как есть“. Без выдумок. Но „человек вечно выдумывает“. И вот тут та особенность, что и выдумки не резрушают истины, факта: всякая греза, пожелание, паутинка мысли войдет. Это нисколько не „Дневник“ и не „Мемуары“ и не „раскаянное признание: именно и именно

только „листья“, „опавшие“, „был“ и „нет более“, жило и стало „отжившим“, меньше пирамиды и больше пирамиды, главное гораздо сложнее, и в то же время клади в карман. И когда я думаю, что это я сделал с собою“, сделал с 1911 года, то ведь конечно на столько и так ни один человек не будет выражен, так и вместе опять суб'ективен: и мне грезится, что это Бог дал мне в награду за весь труд и пот мой и за правду“.

Продолжением „Опавших листьев“ явился „Апокалипсис нашего времени“, издававшийся в 1918 г. в Сергиевом Посаде. В последний год жизни Розанов этим трудом (и еще неоконченной книгой „Из восточных мотивов“) завершил свой творческий путь. Для Розанова судьба его книги т.-е. идей составляла его личную судьбу. Поэтому мы не должны в исследовании его жизни отделять биографическую канву от литературных трудов. Внешними событиями жизнь В. В. не была богата. Его путешествие по Италии, Франции, Германии дало ему ряд новых поводов к интересным статьям („Итальянские впечатления“ и др.), но это были именно поводы, разбудившие в его душе те или иные мотивы, те или иные настроения, мысли, но не давшие ей ничего существенно нового. Душа В. В. не нуждалась в дарах извне,—она была от природы богата, творила из себя. Ватикан или Колизей были для творчества Розанова ничуть не выгоднее, чем квартира на Шпалерной или Коломенской. Он был весь „внутри себя“. Таким „нутряным“ человеком остался он до конца жизни. Сергиев Посад, куда он переехал в 1918 г., ничего нового не внес в его настроения; в христианской тишине насквозь православного и церковного уголка, Розанов написал, может быть, самые „антихристианские“ страницы—„Апокалипсис нашего времени“. Розанову казалось, что все мы медленно, но верно умираем, уходим в ночь, в небытие, в могилу и притом—„как фанфароны“, „как актеры“, без креста и молитвы. Умираем же мы от единственной причины—от неуважения себя, от нигилизма.

Тема Апокалипсиса сплетается из вопросов религиозно-фило-

софских и общественно-политических. Заглавие, по словам автора, не требует пояснений в виду событий, имеющих не мнимо апокалипсическое значение, но действительно апокалипсических. От былого христианства, по мнению Розанова, образовались колоссальные пустоты, в которые проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатство. Все это проваливается в пустоту души, лишившейся древнего содержания. В статье „Рассыпанное Царство“ Розанов печалуется о распаде России и винит в этом литературу русскую и устремляется мыслью к былым временам, к Апокалипсису, этой таинственной книге, обжигающей сердце. Для него нет никакого сомнения, что Апокалипсис книга не христианская, противо христианская, что Христос Апокалипсиса ничего не имеет общего с Евангельским Христом. Розанову Апокалипсис был всегда ближе других книг Евангелия,—синоптиков он прямо не любил *). Особенно порицает Розанов христианство за его бессилие помочь человечеству, за его абстракции, за его не космичность.

Солнце загорелось раньше христианства и не потухнет, если даже христианство кончится.

„Попробуйте распять солнце“, говорит он в двухстрочной заметке, под названием „Солнце“—„и Вы увидите—который Бог“.

В этом для него ограничение христианства, против которого не помогут ни обедни, ни панихиды. С одним христианством человеку не прожить: хорош монастырек, в нем полное христианство, а все таки питается он около соседней деревеньки, без которой все монахи перемерли бы с голоду. Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству. Христос в глазах Розанова вовсе не единосущен Богу. Говоря о делах духа в противоположность делам плоти, Христос через это именно показал, что Он и Отец не одно.

*) Вспоминаю рассказ З. Н. Гиппиус о том, как однажды придя к Мережковским, В. В. стал упрашивать их: „Откажитесь от синоптиков,—вечными друзьями будем!“

„Отцовский“ завет отличается от „сыновьего“ своим непрестанным **попечением о человеке**, каким-то кутающим и пеленающим. Для Розанова это ценно и важно, потому что он уверен, что это попечение и вообще вся физиология, которой насыщен Ветхий Завет, есть нечто космическое. Для него земное залог, а не антитеза небесного. Небесное возникает из земного, как бабочка из гусеницы (куколка—смерть, труп).

В своем обоготворении земного бытия Розанов не замечает, что приведенное рассуждение его справедливо только в категории земного, материального, конкретно-эмпирического и что столь упрощенное понимание не применимо к явлениям другого порядка, к нуменальному миру. Если Отец—нумен, то сын Его феноменальный образ, т.-е. не **довершение**, а **отображение** Отца. Любовь и ненависть ко Христу нераздельно жили в противоречивой душе Розанова. „Ты один прекрасен, Господи Иисусе“, восклицает он,—„и похулил мир красотою своею“. И тут же добавляет: „А ведь мир то Божий“. Он верит, что Христос воскрес, но не радуется этому: Христос страшит его. Христос по его словам „оскопил Бога“, Он ужасен, Он вовсе не друг людей, но обольстительный враг. Совсем иное Моисей—„величайший из древних“, не был красноречив и обольстителен как Христос, напротив, он был косноязычен, заикался, „вот по этому соединению невинного и смешного мы узнаем Божию книгу и узнаем Божие событие“. Вопросы религиозные перемешаны в „Апокалипсисе“ с общественными.

Много внимания уделяет он судьбе русского народа. Ему кажется, что русский народ не умеет властвовать, недаровит к власти, с него довольно сплетен и кумовства.

Один из выпусков Апокалипсиса кончается словами: „Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц—может часто спасти день мой... Сохрани, читатель своего писателя“ (далее следует адрес). Нашлись люди, печатно насмеявшиеся над этой просьбой, обвинившие Розанова в „попрошайничестве“. Это „попрошайничество“ было ничем иным, как воплем отчаяния человека, который страстно хотел

жить и работать, и не мог,—задыхался от усталости, терпел голод и холод. Розанов мечтал завершить писательский путь грандиозной разработкой своей темы. Верил он и в грядущий расцвет русского самосознания, несмотря ни на что. „Апокалипсический переворот“ происходил у него на глазах и он верил в смысл этого переворота. Он писал одному из друзей своих, что хочет создать такую апологию Революции, какая самой Революции и не снилась.

Любовь и ненависть причудливо сочетались в его загадочной душе. Двойственно было его отношение и к России, и к Революции, и к еврейству—словом ко всему, с чем приходила в соприкосновение его активная, пытливая, мятежная душа. В этой противоречивости не было лжи, не было ничего двуличного, неискреннего, случайного: он стремился заглянуть в глубь вещей, в самую их суть; а последние тайны антиномичны по существу и познать их нельзя путем одного утверждения или отрицания. „Да“ и „нет“ слиты в тайне духовного бытия, сплетены как две нити электрического шнура. Подобно тому, как слияние положительного и отрицательного токов дает свет, так и здесь: лишь одновременное и равносильное приятие „да“ и „нет“ освещает темные глубины бытия. И Розанов знал, что „можно любить ненавидя, любить с омраченной душой, с последним проклятием, видя последнее счастье в одной“ (Брюсов). Этой одной, этой единственной была для него Россия.

Наконец, в самом главном, в сокровенном,—в религиозной глубине своей, он нежно любил Христа (потому и умер христианином) и отрицал историческое христианство.

Историческое христианство, забывшее о человеке и подменившее антропософию (в которой вся суть Христова учения) богословием,—это и есть тот гнет, от тяжести которого хотел освободиться Розанов и освободить от нее нас.

Пятнадцать лет тому назад Бердяев написал интересный этюд—„Христос и Мир“ (ответ В. В. Розанову), в котором развивает мысль, что Христос для Розанова хуже христианства,

потому что христианство все-таки частично приемлет мир, а Христос отрицает его целиком. Ошибочность этой мысли очевидна, если вспомнить, что те свойства, которыми Розанов наделяет Христа, взращены и взлелеяны именно „крайними“ представителями исторического христианства: аскетами, подвижниками, монахами. Если даже согласиться с Бердяевым, что для Розанова Христос хуже, то надо условиться, что есть два Христа: один моралист—диктатор, церковник, (таким его хочет видеть церковь), другой—антропософ, анархист, мечтатель. И тут Розанов прав: первый Христос есть дух небытия, дух умаления жизни. Второй же Христос (истинный) вовсе не осудил все в мире без исключения. Бердяев правильно вскрывает сущность понятия мир: это есть смесь бытия с небытием, действительности и мнимости, вечности и временности. Мировая данность не есть ни этот мир, ни тот мир, а смесь, смешение того мира с этим, бытие и небытие, ценность и ничтожество. Бердяев прав, говоря: „Розанов всех загипнотизировал своей дилеммой „Христос или Мир“, в то время как такой дилеммы не существует“.

В самом деле попытка противопоставить Христу—мир (быт) порождена неясностью понятия мира в постановке Розанова для оффициального христианства, для церковной казенщины его критика разрушительна, но по существу она не только не отвергает религиозную жизнь, а напротив возвеличивает ее. Розанов, поистине, сделался жертвой несуществующей дилеммы. Ценность подлинного бытия Христос вовсе не отрицал. Подлинное же бытие само собою отвергает ложное христианство.

Смысл таких книг как Апокалипсис Розанова—в самообличении: критика становится в них самокритикой.

V.

Творчество Розанова чрезвычайно разнообразно по содержанию. Приступая к анализу его, необходимо выделить его главенствующие темы. Розанов не имел обыкновения предварительно намечать тему. Никогда не начиная с пролегомен, он, нередко, однако, приступает к главному предмету своих писаний издалека. Иногда, дойдя до основных вопросов статьи, он внезапно отступает от них, обращается к посторонним событиям, не имеющим на первый взгляд, ничего общего с данною темою. Это не только не мешает Розанову сосредоточиться на предмете своих размышлений, но напротив, как бы способствует развитию главной идеи. В его писаниях много чисто „литературного" в буквальном смысле слова „littera": их нужно воспринимать непременно зрительно, со всеми сносками, примечаниями, скобками, кавычками и пр. Одного слухового восприятия было бы недостаточно. Будучи прочитаны „ex-cathedra", писания Розанова много проиграли бы в своей выразительности. Недаром Розанов избегал публичных выступлений и не любил ораторства. „Тайна писательства—в кончиках пальцев, а тайна оратора в кончике его языка" („Оп. Л.", т. I). У Розанова талант заключался именно в „кончиках пальцев". По его собственному мнению „два эти таланта, ораторства и писательства, никогда не совмещаются".

Если для оратора обязательно договаривать каждую свою мысль до конца, то писатель нередко прячет ее между строк, останавливается на полдороге. Для Розанова очень характерно такое недоговаривание. Все его рассуждения о христианстве,

юдаизме, литературе и пр. построены на недоговоренности, а иногда даже содержат как бы молчаливое признание противоположных доводов. Розанов склонен говорить обо всем, что подвертывается „под руку“. Он фиксирует свои ощущения в их живой текучести, в момент образования, in statu nascendi— прежде рефлексии, прежде анализа. Все его книги в целом и общем представляют собою интимный дневник огромной, многооб’емлющей души, которая сама не знает, что в ней ценно и важно, а что ничтожно и не нужно. Однако, в своих основных устремлениях эта душа всегда остается верной себе. Как бы ни было туманно, мучительно и хаотично в душе Розанова, внешние враги у него всю жизнь—одни и те же. Розанов—писатель вечно враждующий, потому и враждующий, что любящий. Это с совершенной очевидностью обнаруживается в доминирующих темах его книг.

Христианство и Христос, религия и церковь, юдаизм и еврейство, семья и брак, по ли половая жизнь,—вокруг этого и во имя этого волнуется и тревожится Розанов в своих книгах. Антихристианство Розанова многократно подвергалось обсуждению как в печати дружественной ему, так и в печати ему враждебной. Всем казалось, что Розаов злейший враг Христа, что он один опаснее для христианства, чем все его идейные предшественники вместе взятые. Однако, антихристианство Розанова вовсе не есть атеизм,—напротив, это живая религия, пламенный, вдохновенный теизм, культ Отчей Ипостаси Вседержителя Неба и Земли. Розанов восстает не против христианства вообще, а только против скорби, страха и самоотрицания, проистекающих из христианского аскетизма. В этом отношении замечательны две книги „Темный Лик“ и „Люди Лунного Света“. Если со стороны стиля и выразительности Розанов считал вершинами своего творчества „Уединенное“ и „Опавшие Листья“, то в идейном смысле он считал центральным своим трудом „Метафизику христианства“ *). Книга эта

*) Привожу признание В. В., высказанное в беседе со мной осенью 1915 г.

была вначале запрещена и увидела свет под другим названием, разделенная на два тома „Темный Лик“ и „Люди Лунного Света“.

Книга „Темный Лик“ начинается утверждением, что главное христианское чувство, без которого нет христианина,—грусть. Веселый христианин—это такое же contradictio in adjecto, как „круглый квадрат“. Меланхолия, любовь к пустыне, к уединению, монастырь, молитва и слезы, слезы без конца—вот существенное в христианстве, которое хочет плачущего человека, любящего свою печаль.

Уже из предисловия к „Темному Лику“ выясняется с полной определенностью, о каком христианстве идет речь. Автор говорит о Темном Лике, не замечая, что этот Лик, сам по себе светлый, затемнен людской неправдой—болью—скорбью—отчаянием. Правда, он разделяет христианство на белое, символизируемое белыми ризами духовенства во время церковной службы и темное, черное, названное так по цвету монашеских одежд. Отмечает Розанов и то, что среди монахов можно встретить людей светлых, жизнерадостных, образец такого человека дал Достоевский в старце Зосиме. Но, по мнению Розанова, нет строя души более противоположного христианству, чем душевный покой и душевная светлость Зосимы, имеющие нужду во Христе. И Розанову хочется пройти мимо Зосимы, мимо этого случайного и не существенного, как ему кажется, явления. Он не замечает, что Зосима, с его нежнейшей любовью к земле и земному, с его заветом любить землю исступленно и восторженно, повергаться на нее и целовать ее, что этот Зосима является посредником, как бы звеном, связующим древний мир и новый, язычество и христианство. Не замечает он и того, что Зосима не единственный пример светлого, радостного приятия мира во Христе. Известно не мало подвижников, схимников, отшельников, жизнь которых была счастливой и легкой, потому что радостные ощущения, связанные с переживаниями религиозного порядка не только уравновешивали физические испытания и всевозможные лишения (а эти

добровольные испытания бывали иногда страшно тяжелы), но даже превышали их, давали прирост духовный, избыток счастья и довольства. Иные подвижники ничуть не меньше „язычников“ верили в то, что цель жизни блаженство,—к нему они и стремились всею силою души. Радостное, просветленное состояние духа, достигавшее у некоторых подвижников чрезвычайной интенсивности (обыкновенно во время молитвы), восторженно описано Макарием Великим, Исааком Сириянином и др. О нем же говорит Федор Едесский (в сборн. „Добролюбие“). Серафим Саровский и Симеон Новый Богослов также испытывали часто и по долгу эстетическое, восторженное состояние. Для всех них лик Христа был Светлейшим ликом,—они просто бы не поняли Розанова, о каком „Темном лике“ ведет он речь.

В книге „Люди лунного света“ Розанов коснулся вопроса о причинах, приводивших христианских подвижников к подвигу иночества и влиявших на сохранение ими целомудрия. По взгляду Розанова идея аскетизма, идея „девственной“ жизни возникла из половой аномалии, из гермафродитизма или андрогинизма. Аскетизм есть ничто иное, как обращение к Богу людей так или иначе аномальных в поле, не способных вести нормальную семейную жизнь, нормально супружествовать. Розанов и тут упускает из вида, что Четьи-Минеи полны примерами людей, которые, будучи физически нормальными, проявляли наклонность к аскетической жизни единственно вследствие запавшего в их души стремления к Божеству, к ощущениям сверхсознания; это стремление пересиливало в них зоологические инстинкты, жажда духовного бессмертия заглушала потребность в бессмертии биологическом. Это не мешало им относиться к христианскому браку с полным уважением. Наконец, самое понятие „нормальности“ в столь многосложном вопросе крайне сбивчиво и шатко. Может быть, духовный андрогинизм и есть первоначальное „естественное“ (до грехопадения) состояние человека; для него безмерное наслаждение открывается в автоэротизме, который после „грехопадения“ распался на М. и Ж., на две стихии, вечно жаждущие слияния, хотя бы

мгновенного и призрачного. Может быть асексуализм подвижников и коренится в духовном андрогинизме, который не следует смешивать с гермафродитизмом, явлением физическим; но тогда почему же не предположить, что божественный экстаз мистиков есть особая модификация или эквивалент автоэротизма (который в свою очередь не следует смешивать с онанизмом). В чистейшем, беспримесном состоянии автоэротизм является высшею ступенью Платоновского Эроса. Но Розанов ко всему этому словно слеп: „темные лучи", производящие по его словам „тайный ожог", как бы выжгли в нем способность воспринимать несказанную белизну христианства. Тем не менее, христианство как религиозная потенция, как неистощимый источник живительного духа имеет в лице Розанова не врага, а скорее апологета. Он старается освободить его от веками накопившихся ошибок и предрассудков, от схоластики и догматизма, от всякой вообще мертвечины и гнили. Это особенно явственно сказалось в его выступлениях в Петербургском религиозно-философском Обществе, где он пытался отстоять христианство в его основном, первобытном виде, понимая при этом всю метафизическую глубину этого учения и противопоставляя ее поверхностному, плоскому морализированию. Правда и тут, в этих выступлениях, в полемике со своими оппонентами, Розанов не редко впадал в ошибки и противоречия. Недаром заметил Д. С. Мережковский (на 16-ом Религиозно-Философском собрании, 1903 г.), обращаясь к стоящему за „эмпирическим" Розановым—„вечному" Розанову: „интересно знать,—за кого этот вечный Розанов: за Христа или против Христа? Если бы этот вечный Розанов ответил, что он за Христа, то все бы мгновенно об'яснилось, мы бы поняли, куда ведет Розанов, и пошли бы за ним,—мы т.-е. люди будущего, люди, понявшие жизненное значение религии. Если бы он был против Христа, то пошли бы за ним люди нынешние, безрелигиозные и Розанов был бы в выигрыше. Потому-то громадная сила, которая видна в нем, и не двигает и не оказывает давления, что нет ясного сознания: За Христа он или против?"

На том же собрании А. И. Доливо-Добровольский выразил свое впечатление от учения Розанова в следующих словах: „Розанов опасный соперник. Он чародей, влюбляющий в себя врагов. Над его книгами были пролиты слезы. Когда он умрет, русские женщины поставят ему памятник. Он поэт, он читал звездное небо и слушал морскую волну. Неиз'яснимая прелесть его недомолвок будет еще долго трогать сердца. Гейне сказал бы про его слог, что он обвивает вас, как руки любимой женщины; слово вас ласкает, а тем временем мысль прижимает губы к вашей душе. „Идите к нам, у нас крики умирающих, у нас писк младенцев, у нас государство работает в белых одеждах милосердия... Не уединяйтесь в душевной истоме. С глазами, влажными от восторга, в чаянии глаголов неизреченных—придите, будем вместе ткать золотую паутинку жизни". Прав ли он? И да, и нет. Св. Тереза говорит, что в душе христианской есть две половинки: одна, как Марфа зовет нас тревожно к подвигам житейским, к заботе о земном теле Христа, и негодует, и жалуется Спасителю на другую, лежащую у его ног... Я предложил бы сказать Василию Васильевичу приблизительно нижеследующее: „Мы не во всем с Вами согласны, но тките, милый учитель, вашу золотую паутинку нам, грешным на радость, имени своему на бессмертие. Над вами прожужжала Платонова пчелка... кто знает, не проснется ли у вас под вечер жизни вторая половинка души, и не потребует ли она той доли, которую каждый волен выбрать и никто не отнимет ни ныне, ни вовеки веков?"

Эта вторая половинка души никогда не пустовала в душе Розанова. С особою силою выразилось ее содержание в последние дни его жизни, в предсмертном просветлении (об этом речь будет ниже).

Возможно, что никаких „половинок" в душе Розанова никогда и не было. Не было во всяком случае „перегородки" между ними. „Перегородки" бывают там, где есть догматы, догматизм Розанова же питал упорную антипатию ко всякому догматизму. Он чувствовал, что Христос не дал никакой „таблицы умно-

жения“, не оставил догматов и был чужд самому духу догматизма. Замечательны следующие мысли, высказанные Розановым на XVII-ом Религиозно-Философском собрании 1903 г. (главн. образом в противовес проф. Н. И. Лепорскому): „Евангелие нечто утратило бы в себе и утратило бы существенное, в чем и открылся людям его небесный характер, если бы мы исключили из него те несколько слов Спасителя, где Он начертал целостный образ угодного ему человека, дал фигуру ученика своего, верного своего: „взгляните на лилии полевые: они не имеют одежд, но истинно говорю Вам, что и Соломон не был прекраснее их в убранствах своих; взгляните на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их“. В 33 года жизни Спасителя воздушные облачные сферы как бы свились над землею, и небо и земля коснулись друг друга осязательно, непосредственно. Но не удовольствовался человек этим. Ему захотелось одежд. Он вознамерился стать несравненно красивее этих евангельских лилий, рыбаков Петра и Андрея, Нафанаила и Иоанна; и вот как Адам, не послушавший Господа, начал шить себе одежды—так не послушавшись предостережения Спасителя о лилиях и птицах, христиане между IV-м и VII-м веками начали шить полотнища догматов. Галлилейские рыбаки Петр и Андрей сменились Оригеном и Климентами.

Растительное христианство начало преобращаться в каменное; повидимому более твердое, но не живое. Свеаборг хорош, не спорю, но финский художник не срисует с него картин, ни птица гнезда не совьет в нем и не выведет детенышей. На базарах Византии торговки и торговцы заспорили об „единосущии“ или „единокачественности“ Отца и Сына. К чему? Я думаю, это было уличное легкомыслие. Но когда эти же споры внеслись под своды императорских дворцов, и в них приняли участие „учители церкви“, я не могу назвать это иначе, как отчаянием о Боге... В словах проф. Лепорского о догмате нахожу признание ненужности вообще догмата. Во-первых, он сказал, что догмат „непостижим“, во-вторых, он сказал, что

догмат „уже содержится в Евангелии“. Позвольте, что же это такое, зачем же великолепное слово Евангелия переделывать в сравнительно гнилое слово догматики? Ибо, кажется, весь мир признал, что чудеснее Евангелия, во-первых, по простоте и, во-вторых, по мудрости, не появлялось ничего. Из слов проф. догматика Лепорского я заключаю, что догматы занимаются гнилым делом переделки простого в непростое и мудрого, может быть, в не очень мудрое. Возьмите „учение о Троице“. В Евангелии это—чудные речи Спасителя об Отце Небесном и речи Самого Отца Небесного. И в виде голубя Дух Св. сходит на крестящегося Спасителя. Все картина. Все—умиление. И вот умиленные земные травки склоняются перед Небесной Лилией, в простоте грядущей на ослице: „Осанна Сыну Давидову: благословен грядый во имя Господне“. Я говорю небо и земля касались осязательно. Теперь, что же сделано было потом, по кафедре догматического богословия, так сказать „в снедь“ проф. Лепорскому? Из всего этого человеческого умиления, и слез и картин, из неясного и бесконечного богатства евангельских слов выстрогали логическим рубанком доску: „Бог есть Дух, поклоняемый во Св. Троице“. Да позвольте, для чего мне это знать „как догмат“, когда я это читаю в Евангелии: но там я это читаю в богатстве таких подробностей, в таких тенях и полутенях, в звуках такой нежности Сына к Отцу, такой живой и органической между ними связи, от которой к доскообразном догмате ничего не сохранилось. Ведь это все равно, что вместо Пушкина читать какое-то рассуждение Скабичевского о Пушкине; одно и то же, но только хуже, в нищенском безобразии. Иногда поднимается вопрос или слышатся намеки на какую-то реформу Церкви: нет для этого более надежного и краткого средства, как закрыть в академиях и семинариях кафедры догматического богословия и канонического права, а книги по наукам этим поместить в список не разрешенных к чтению. Это значит сразу закрыть для публики сотни Скабичевских и открыть ей Пушкина: в отношении к христианству—это значит начать вдыхать „душу живу“ в

красную глину, из которой слеплен, ожил было, и снова умер—„во грехах“—Адам христианства.

В догматизировании, в применении логического начала к нежному и неиз'яснимому евангельскому изложению и произошло смертное начало, „неодушевленная глина“, к юному телу первозданного христианства. Как было не поразиться тем, что сам Спаситель, за исключением минуты в храме наедине с грешницею, ни разу не взял пера и не написал ни одного слова. Ведь догмат нечто каменное, твердое. И ни одного такого каменного недвижного догмата Спаситель не оставил людям. „Идите ко мне человецы, я научу вас догматическому богословию“, такого слова не сказал Спаситель людям, а если бы такое безобразное слово поместить в Евангелие, то страница с этим словом вдруг потухла бы; перестала бы светить нам привычным небесным смыслом. Поэтому когда проф. Лепорский, заглядывая в коридор академии, говорит: „студенты, идите—я буду преподавать вам догматическое богословие, то он последует во всяком случае не Спасителю, а скорее всего Скабичевскому. Вся эта вода красноречия, потребовав к себе внимания, углубления в себя, разбора своих мнений и примирения своих противоречий, отвлекла души от вечного и исключительного умиления словом Божиим. Архимандрит Антонин говорит нам: об „экскоммуникативности“ христианства; применяя его слова, мы скажем, что Евангелие и „учители церкви экскоммуникативны по отношению друг к другу“: в них дух различный, метод не тот, противоположен способ действия на душу, орудия действования. Это как Валаам: и „пророчество“—да не то, и горячее слово—но уже не от Бога, а от себя.

Все ереси и самое еретичество произошло из этого догматизирования, догматизма. Просто нельзя себе представить еретика среди полевых лилий, в их запахе, среди цветов. Не было ни одного еретика из „авв“—иваиды. Ересь городское явление. Это в торговой Александрии, в шумном Константинополе, по Сирийскому торговому побережью, вообще в условиях библиотечности начали появляться еретики. Каждый из них есть не-

удавшийся „отец церкви“, „учитель церкви“, или скорее скажем так, что еретики суть учителя церкви, на которых было посмотрено как на транспарант с ярким освещением позади его, так что все ошибки выступили в „яве“, тогда как остальные учители церкви не получили в свое время освещающей лампы позади и похожи на транспаранты, не вынутые из ящика. Учители церкви, они же сотворители всего догмата, вместо умиления к писанию, стали его исследовать, расчленять, анатомировать, расстригать на строчки (тексты), и из'яли весь аромат.

Это были мало логические предшественники Канта и малоученые предшественники Штрауса, но работавшие их приемами мысли и знания. Христианство в них потеряло наивность и сердечность. Дитя беззащитно, но вместе оно и защищено этою самою своею беззащитностью и одновременно миловидностью: с построением догмата оно потеряло наивность и прелесть, трогательность и силу привлечения. Оно стало мужиком, превратившись в Свеаборг: ну а есть такие пушки, которых ядра и через Свеаборг перелетают, и на всякого здорового мужика— найдется еще более здоровый. Началась борьба против церкви, умственная, умная, ученая; выступили Штраусы, Гарнаки, перед которыми Оригены оказались неучеными мальчиками. Выступил Вольтер и его смех, Ренан и его скептицизм. Ну поставлю я перед Вольтером младенца: он станет серьезен, нет предмета для шутки; пропою перед Розановым колыбельную песню—он умилится; прочту Гарнаку вход в Иерусалим—и сухой немец воскликнет с израильтянами: „благославен грядый во имя Господне“.

Христианство перестало быть умилительно „с догматом“, и на него перестали умиляться. Просто его перестали любить...

Никто не падает за литургией при пении „Верую“, да и самое то пение прозаично. Но когда запоют Херувимскую,— хотя смысл ее никому неиз'ясним—все сами склоняют колена, главное сами... И счастливы склонить главы. Перед Евангелием все человечество и было счастливо склонить главу. Ведь

за что-нибудь умирали же мученики, ведь не по „повелению Бога“: это слишком сухо, да и повеления такого никогда не бывало. Ну вот теперь стоит „догматическое здание“ церкви: Свеаборг штурмуется, а люди проходят мимо. одни посмеиваясь, другие немного жалея, но никто до муки, до принятия тернового венца за Свеаборг. Жалеют, качают головами, находят опасным это для цивилизации, для устойчивости правительственной, для народа, и вообще по тысяче утилитарных соображений, заметьте все утилитарных, все именно не небесных. Небесного-то, „Херувимской“-то „песни“ в церкви и не чувствуются; души то в ней и нет, а одно тело. Мне кажется. Бог есть милое из милого, центр мирового умиления: и вот с потерей церковью „милого“ мне брезжится, что как только начали догматики „строить“ с мыслью, что Христос не сумеет Сам защитить свое дело, так Христос невидимо заплакал и отошел от строящих. Свеаборг потому и берется, что ведь он пуст. Он только хитро построен. а защитника-то и нет.

„Дух дышит, где хочет“... и еще „истинно говорю Вам“: хула на Сына Человеческого простится вам. но хула на Духа Святого не простится ни в жизни сей, ни в „будущей“. „Троица вся божественна, но она вовсе не исповедима, и равная в Себе, равна вовсе не арифметическим равенством, как это „умерено“ в догмате, а имеет выпуклости, органическое сцепление, горы и пропасти в себе: слово—Троица—голубь миров, перед которою мал и прост и не сложен наш видимый мир. Возващаюсь к Духу Святому: вот проступком против Него и является догматизм, как метод. И Дитя—Христос и удалился из нашего Свеаборга, не только от того, что мы не поверили слову Его о полевых лилиях: это еще хула на Сына Божия, и за Себя Христос нам простил бы, но мы похулили Дух Святой, „который дышит идеже хощет“, задумав дать этому Святому Духу медные латы для защищения. Отсутствие надежды на Бога, да и не ей одной: „веры, надежды и любви“,— вот что сказалось в догматизме христианском. Теперь эти три добродетели—только присловие в разговорах. Как и „догмат

о Троице"—это какой-то арифметический треугольник, из которого не мерцает некоторое в сущности лицо.

Мы угасили дух пророчества в себе. Бытие догмата угасило возможность пророчества. Мы чрезвычайно обеднели даже сравнительно с ветхозаветным еврейством. В Евангелии Троица светится таким особенным, богатым и бесконечным светом, что и я, и всякий могли бы еще обратиться к Отцу Небесному в нужном случае жизни, не повторяя слова Иисуса, и не приводя текста", но свое новое творя слово. Ибо Иисус говорил к Отцу, но он не закрыл Отца перед людьми".

Здесь весь Розанов. Упорно настаивая и доказывая а-догматичность христианства, он защищает свободное, самодовлеющее религиозное т в о р ч е с т в о.

VI.

Очерк жизни и деятельности Розанова могут дополнить воспоминания о нем, впечатления, вынесенные от личного с ним общения. Они являются попыткой дать хотя бы в бегло набросанных чертах конкретный образ писателя, его облик, духовное „лицо“.

Для нас, друзей и почитателей покойного, ценно и дорого именно „л и ц о“ Розанова, т.-е. цвет, запах и мелодии его изумительной души, в одних проявлениях чарующей нас, в других—заставляющей содрогаться. Идеи и темы Розанова никогда не умрут и, значит, никуда не уйдут ет исследователей. Но могут потускнеть, померкнуть и забыться черты этого единственного в мире лица. Хочется скорее зарисовать их, хочется запечатлеть их несравненное своеобразие.

Розанов сам интересовался „домашними делами“ писателей больше, чем их творениями. Он знал хорошо, г д е лежат ключи к пониманию суб'ективных особенностей литературных деятелей. И несомненно, он был прав, подымая вопрос о „нижнем белье“, хотя нескромный вопрос этот ведет нередко в отвратительным ответам... В самом деле, разграничивать „писательское“ и „человеческое“ столь же странно, как отделять цветок от его корней, уверяя, что это „два совсем разных растения“.

Вот почему хочется возможно отчетливее вспомнить „лицо“ В. В. Розанова, вспомнить его слова, привычки, симпатии.

Первая встреча моя с Розановым состоялась в Вырице (М. В. Р. ж. д.), у него на даче, куда я приехал 23 июля 1915 г., в ответ на его письменное предложение познакомиться.

Восстав от послеобеденного сна, писатель плескался за стеной, а я поджидал его, шагая по маленькому дачному кабинету. На столе лежал „Короб 2-й“—„Опавших Листьев“, тогда только что увидевший свет. Вскоре ко мне вышел мелкими шажками, небольшого роста старичек, самой мирной и ласковой наружности. Я почему-то ожидал увидеть полного, обрюзглого „Обломова“, с рыжей шевелюрой и голубыми глазами. А увидел как раз противоположное: прямого, бодрого, скорее худощавого, чем полного человека с седой головой,—изжелта седыми усами и бородкой. На подвижном лице светились лукаво и умно черные (карие) глаза. Он показался мне одновременно и тревожным и сосредоточенным. Первые слова, им сказанные, были: „Ну рад с Вами познакомиться... Вы—немец, лютеранин?“

В самом начале беседы выяснилось, что больше всего ценит Розанов в людях влечение к религии (вообще к религиозности) и отталкивание от позитивизма.

Разговор шел о церкви и церковности, об Университете (Петроградском) и студенчестве, о Вл. Соловьеве, Н. О. Лосском, Бергсоне, Метерлинке и др. Я смотрел на В. В с жадностью. Так вот каков тот человек, вокруг которого—давно-ли, года три—четыре тому назад (до его исключения из Религиозно-философского Общества в 1913 г.)—группировалась петроградская аристократия ума и таланта,—человек, в кабинете которого велись, как выразился один свидетель, разговоры „изумительные“, по содержанию—единственные в Европе, единственные по самобытности и блаженности тем.

Писатель прочитал мне несколько отрывков из своей новой книги „Опавшие Листья“ (т. II). Кстати посетовал на критиков. Мимоходом рассказывал кое-что о Толстом, Мережковском и др. Расспрашивал о Е. В. Де-Роберти и С. А. Венгерове, узнав, что я был их слушателем в Психо-Неврологическом Институте. В Венгерове его озадачивало сочетание „шестидесятничества“ с увлечением Пушкиным.

В Розанове все показалось мне тогда необычайным, кроме внешности. Внешность у него была скромная, тусклая, тип старого чиновника или учителя; он мог бы сойти также за дьячка или пономаря. Только глаза—острые буравчики, искристые и зоркие, казались не „чиновничьими“ и не „учительскими“. Он имел привычку сразу, без предисловий, залезать в душу нового знакомого, „в пальто и галошах“, не задумываясь ни над чем.

Вот это „пальто и галоши“ действовали всегда ошеломляюще и не всегда приятно. В остальном он был восхитителен: фейерверк выбрасываемых им слов, из которых каждое имело свой запах, вкус, цвет, вес,—нечто незабываемое. Он был в постоянном непрерывном творчестве, кипении, так что рядом с ним было как то трудновато думать: все равно в „такт“ его мыслям попасть было невозможно,—он перешибал потоком собственных мыслей всякую чужую и, кажется, плохо слушал. Зато слушать его было наслаждением.

Он нисколько не „играл роли“ знаменитого писателя, не рисовался, не кокетничал. Во всем был прост, непринужден, не страшась бестактности и „дурного тона“. В нем часто бывали резкие переходы от одного настроения к другому, от нежности к раздраженности, от грусти к веселости. Мысль его (в разговоре) всегда шла как то зигзагами, толчками. Иногда он говорил что нибудь неожиданное и очень странное, так что казался юродивым, чудаком, ненормальным. Из внешних привычек В. В. отмечу постоянное, почти непрерывное курение: он чуть ли не весь день набивал папиросы, коротенькие, с закрученным концом и курил их одну за другой. Своеобразна была его манера ходить—шмыгающая, словно застенчивая, но прямая. Сидел он, обычно, поджав под себя одну ногу и тряся непрерывно другой ногой.

После первого свидания в Вырице я встречался с В. В. в Петербурге, на Шпалерной. В 1917 г. он был весь погружен в свои „Восточные мотивы“, которые начал тогда издавать (издание прекратилось на третьем выпуске): возился с

египетскими рисунками, облюбовывал, обдумывал каждую деталь, умилялся, восторгался различными символами и обрядами древнего Египта, ругал последними словами ученых египтологов, особенно Масперо и Шамполиона, за то, что „дураки ни уха, ни рыла не понимают в Египте, а туда же“. Его,—„розановская“, египтология была, действительно, своеобразна,—это была какая то фаллическая лирика (изображение Фаллуса повергало его в экстаз), почти осязательное прикосновение к святыням древности, сочувствие и сомыслие, доходившее до нежнейшей влюбленности...

Квартира Розанова походила на своего хозяина: в ней не было ничего банального,—нельзя было понять, какая разница между „гостиной“, „кабинетом“ и „спальной“; в гостиной библиотека, множество книг, гипсовая маска Страхова, Мадонна, нумизматическая коллекция. Здесь принимали гостей, вообще это было место „разговорное“ и „проходное“. Рабочий кабинет (он же спальня В. В.) был местом священнодейственного труда и дружеских бесед, интимных tête-a-tête'ов.

Помню маленькие, узенькие листочки, раскиданные на письменном столе. Только на таких полосках бумаги он и писал, других не признавал. А иногда писал на обрывках, клочках, на оторванном клочке книжной обложки, на папиросной коробке. Книг у него в кабинете не было, кроме самых любимых и нужных. „Дневник писателя“ Достоевского был его настольной книгой, Библия тоже. Над столом большой портрет А. А. Рудневой (тещи В. В.). Фотография дочерей и репродукция с портрета Розанова работы Бакста (портрет этот находится в Третьяковской галлерее). Беседы наши иногда прерывались неожиданно: вдруг осенит Вас. Вас. желание окончить начатое вчера письмо или начать статью („вы позвольте мне кончить письмо, давайте, не будем стесняться друг друга, я живо, а вы сядьте тут рядом, нам будет хорошо помолчать“). Если было воскресенье, он часов в девять начинал переодеваться и с увлечением рассказывал о какой нибудь древне-египетской рукописи, барахтаясь в крахмальной рубашке, упорно

не влезавшей на своего владельца. Попутно ругал одних, хвалил других писателей. Очень любил он Флоренского, Эрна, Булгакова. Хорошо относился к Лерперу (но не без брезгливости и опаски), к Чуковскому (тут лицо его расплывалось в развеселую улыбку). „В. В., что вы думаете о Бердяеве“?—спросил я его как то. „Ничего не думаю и думать не хочу“. Не любил Розанов Амфитеатрова, Гр. Петрова. О Л. Толстом говорил разно—то с оттенком раздражения, то благоговейно. Толстой показался ему при встрече прекрасным и величественным, полубогом. „Старик был чуден. Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку,—ту благородную руку, которая написала „Войну и Мир“ и „Анну Каренину“ и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя: „Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости“.—Все это не помешало, однако, Розанову об‘явить (в „Уединенном“), что „Толстой прожил собственно глубоко пошлую жизнь“. Он пытается уверить нас, что Толстой не знал страдания, не знал тернового венца и героической борьбы за убеждения, что Толстого мало любили и смерть его никого по настоящему не взволновала.

Раз, показывая мне фотографию Толстого, Розанов сказал: „Вот, фотографию мне прислал через Страхова, а надписать ее не захотел. Ну, Бог с ним. Все таки, знаете, какой богатырь!“

Такое же двойственное отношение было у Розанова к Вл. Соловьеву, с которым у него было много идейных разногласий и, все таки, много точек соприкосновения. Некоторые идеи Соловьева он упорно игнорировал, даже презирал, вернее они нагоняли на него скуку. По мнению Розанова, Соловьеву недоставало „русского духа“, „русского тепла“. Он считал его „международным, европейским писателем“, рассматривая это как недостаток“. Он был весь блестящий, холодный, стальной (поразительно стальной смех у него,—кажется, Толстой выразился: „ужасный смех Соловьева“). Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек“.

В дни, когда Розанов трудился над книгой „Из восточных мотивов“, когда весь он был погружен в Египет и ни о чем другом говорить не мог, он вспоминал рассказ Соловьева, как тот распивал шампанское у подножия какой-то пирамиды. „Какое кощунство“,—волновался Розанов—„пирамида, тысячелетняя мудрость, красота, вера, все тут, а он со своим цилиндром и шампанским. Ну, как тут не ругать Соловьева, вы подумайте!“

О Чехове Розанов сказал однажды так: „Чехов?—ничего особенного. У меня он вот где сидит“ (показал на шею). „Что Чехов? глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стали читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю“. Об Ин. Анненском: „Из декадентов он мне больше всего нравился. Запишите о нем все, что помните, чтобы осталось в литературе. Как ужасно он умер, внезапно и так рано“.

Перейдя на мысли о смерти, сказал (это было в 1916 г.): „Ну вот исполнилось мне 60 лет, еще несколько годков и могила“.

Про „Новое Время“ говорил в 1917 г. (после революции): „Вот ничего не печатают, сволочи“. Сердито роясь в рукописях: „ведь это все деньги, а лежат зря“.

Меньшикова В. В. недолюбливал, порицал за жадность.

Общность некоторых устремлений связывала Розанова с А. Л. Волынским. Но по складу ума, по манере мышления, они всегда были чужды друг другу. „Очень уж вы последовательны“, говорил Розанов Волынскому, „очень уж обтачиваете мысль. Вдобавок, у вас римский нос, а мы, русские, любим нос „картофелькой“: вот—римский—то нос и мешает нашей близости“. Он называл Волынского „евреем-православником“, очень ценил его интерес к православию, к личности Христа, к судьбе церкви и пр. Особенно же дорог был Розанову поход, предпринятый Волынским против критиков-радикалов. Однажды в Малом театре, на выступлении Айседоры Дункан, одновременно присутствовали Волынский и Розанов.

Внезапно последний выбежал из своей ложи, направился к сидящему в партере Волынскому и поцеловал его, сказав: „Вспомнил ваш подвиг с русскими критиками и побежал вас поцеловать“.

О Мережковских он избегал говорить. Только раз сказал со страхом про З. Н. Гиппиус: „Это, я вам скажу, не женщина, а настоящий чорт—и по уму и по всему прочему, Бог с ней, Бог с ней, оставим ее“...

С интересом говорил о Евг. П. Иванове.

В те годы, когда я бывал у Розанова (1915—1917 гг.) „Религиозно-философское Общество“ уже не заглядывало на его „воскресения“. Многие писатели порвали знакомство с Розановым по, так называемым, „моральным“ причинам, ничего общего с подлинной моралью не имеющим. Из писательской братии продолжали изредка бывать у него, если не ошибаюсь,—А. М. Ремизов, К. И. Чуковский, М. А. Кузмин, Н. О. Лернер, А. А. Измайлов и кое-кто из „правого лагеря“.

Новых писателей, „молодых“, Розанов почти не читал и был к ним равнодушен. Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: „Ну ка покажите, что тут есть хорошего—Вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю“. Книги были с автографами Брюсова, но и эта почтительная предупредительность не повысила внимания к ним Розанова. Вяч. Иванова он считал „Семирадским в поэзии“, но охотно верил, что он „настоящий поэт“, потому что „Поликсена Соловьева сказала, что у него есть два три гениальных стихотворения, а этого достаточно, даже если остальное хлам и неразбериха“.

В библиотеке В. В. была особая полка, на которой стояли, кроме его собственных сочинений (переплетенных кем то в роскошные красные кожаные переплеты)—„Столп и утверждение истины“ Флоренского, „Русские ночи“ В. Одоевского и еще что-то, все в одинаковых переплетах. Любимыми его писателями после Достоевского были Н. Страхов и Лесков.

Менее определенно было отношение Розанова к искусству изобразительному. Разумеется, он не мало понимал в этой области, „чуял“ прекрасное, как никто, но особых пристрастий и верований, кажется, не имел. Достаточно сказать, что он способен был одновременно восхищаться грубым, вульгарным анекдотизмом Репина и тонкой, нежной молитвенностью Нестерова.

С большой симпатией относился Розанов к Александру Н. Бенуа. В одном из писем ко мне он писал: „Лукомскому и А. Н. Бенуа привет. Бенуа и любовь. Умный“. В другом предсмертном письме он снова шлет привет „благородному Саше Бенуа“.

Интересовался Розанов скульптурой Паоло Трубецкого. Очень дорог ему и близок был весь „Мир Искусства“. Сам, не будучи „эстетом“, он умел ценить „эстетизм“ в других. Древность, античное искусство, классицизм повергали его в умиление. Отсюда—любовь к нумизматике, особенно к древне-греческим монетам. Была у него монета с „Афиной, окруженной фаллусами“ предмет частого любования и нескончаемой радости.

С Нестеровым Розанова связывала давняя дружба. Приезжая из Москвы, художник непременно навещал В. В. Помню одно из таких посещений, необычайно занимательную беседу, в которой собеседники с полуслова угадывали мысли друг друга, и чувствовалось, как много созвучий в их душах. Запомнился мне один эпизод, характеризующий рассеянность В. В. Я собрался уходить, Нестеров остался в столовой. Прощаясь со мной в передней и целуя, Розанов сказал: „Ну, счастливого пути, Христос с вами. Поклон москвичам, Флоренскому непременно, Булгакову и всем, кого увидите“.—„Почему москвичам В. В.?“—„Ах, забыл я—ведь москвич-то Нестеров, а не вы... Ну я с Нестеровым целуюсь и с вами целуюсь, вот и спутал“...

Великолепен бывал Розанов в полемике. Это не были в сущности „споры“ (ибо какой же спор возможен с Розано-

вым), а так, умственный турнир, фехтование. Вспоминаю одно из „воскресений" (день приемов), когда В. В. был особенно в ударе. Публика собралась разная: много дам „поклонниц", какая-то маленькая писательница с оригинальной фамилией (не помню, кажется, Безграмотная или нечто в этом роде). какой-то художник из Крыма, проф. В. В. Суслов, А. М. Коноплянников, Ф. Я. Тигранов и др. Разговор был жаркий, перекрестный, при чем весь „жар" проистекал от Розанова, который весь был в потоке мыслей, образов, мимики, жестов. Он так увлекался порою, что впадал в „неприличие". „Что? Автономная Украйна?"—кричал он на девицу, набожно, глядевшую ему в рот:—„вот вам автономия!"—и кукиш взлетел к носу девицы. Он не стеснялся, если нужно было (по ходу мысли), касаться „альковных тайн", а однажды поведал, что когда пишет, то „для вдохновения" держится левой рукой за „источник всякого вдохновения" („лучше пишется").

Типично для Розанова, что в разговорах о литературных и общественных деятелях, он больше всего интересовался личностью, „лицом" данного человека. — „А как он выглядит? Сколько лет ему? Женат? Дети есть? Как живет? Состоятельный или бедняк?" „Физиология" человека занимала его в первую голову. Отсюда он выводил все остальное. Многие „левые" деятели были ему как-то физиологически антипатичны. Значит и „труды их не стоили внимания". „Не целоваться же с ними". Вообще в человеке он прежде всего любил и почитал человека, а уж потом его „шкуру" и „разные разности".

Проблема пола (в аспекте религиозно-философском) была любимою темою разговоров Розанова. Но он предпочитал говорить на эту тему „с глазу на глаз", а не в большом обществе. „Вообще, знаете, об этом нужно говорить шопотом" (он понизил голос и весь как-то сжался), „шопотом, как о самом тайном, о священном... А мы горланим, книги пишем, бесстыдники."

Его тяготение к половой проблеме, повидимому, не встречало сочувствия со стороны „домашних“. Он заговорил, однажды, о новой своей „половой статье“ восторженно, с под'емом. „Гадость ты написал, больше ничего“,—сказала одна из его дочерей с гримасой. В. В. затрясся в беззвучном смехе.— „Вот так лет пять она будет твердить—„гадость, гадость“, а потом поймет и еще как поймет...“

Дочери часто с ним спорили, одна из них нередко прибегала к истерике, как аргументу неопровержимому. Жена В. В. просто засыпала на этих беседах (от болезненной слабости, но и от скуки). Видимо она была вне круга Розановских мыслей. Но он очень ценил ее, считал „нравственным гением“, заботился очень. Иногда бывал с ней резок. Один раз ответил ей грубовато на какой-то вопрос. Но когда она вышла из комнаты, вдруг всполошился: „знаете, я, кажется, мамочку мою обидел,—пойду попрошу прощения“, и шаркающей, семенящей своей походкой прошмыгнул в соседнюю комнату. Пошептался там, пришел назад, сияющий: „ну, вот, все хорошо“.

Насмешник он был большой руки. Злая издевка не была ему свойственна, сарказм его был добродушен, но в известных случаях неумолим.

Насколько отчетливы были литературные симпатии и антипатии Розанова, настолько трудно разобраться в его общественно-политических вкусах. „Когда начальство ушло“, он принялся бранить начальство. Когда оно снова „пришло“, он стал критиковать его врагов. То восторгался революцией, то приходил в умиление от монархического строя. Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за „младенца, замученного Бейлисом“. Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные письма к

еврейскому народу. Впрочем, письма эти загадочны: в них и „угрызения совести“, и нежность, и насмешка. Несомненно одно: „антисемитизм“ Розанова и антисемитизм „Нового Времени“ явления разного порядка. Вообще в консервативном лагере Розанов очутился случайно, вовсе не стремился „пристроиться“ там, а просто „пригнало течением“ к правому берегу.—Я писатель, а не журналист,—говорил не раз В. В.,—„и мое дело писать, а куда берут мои статьи — мне все равно“.

Помню, в каком экстазе был В. В. в 1917 г. после февральской революции. Он тревожился, волновался, но вместе с тем восхищался событиями, уверял, что все будет прекрасно, „вот теперь-то Россия покажет себя“ и т. д. В одном письме он говорил: „я разовью большую идеологию революции, и дам ей оправдание, какое самой революции и не снилось“.

Продолжался этот восторг не долго. Наконец, стало совсем не до восторгов, когда придавила нужда. Не раз приходилось унижаться ради куска хлеба. Писатель, всю жизнь упорно трудившийся, собирал окурки у трактиров и на вокзале, чтобы из десятков окурков набрать табаку на одну папироску. „Из милости“ пил чай у какого-то книготорговца.

Но все также клокотала в нем мысль, жажда жизни, жадный интерес к людям. Как человек, голодный и холодный, он „сдал“. Но как писатель не „поджал хвоста“ и ни к чему не „примазался“. Бегство Розанова в 1918 г. в Сергиев Посад многие об‘ясняли малодушным желанием скрыться с горизонта. Отчасти это верно. В. В. пережил состояние отчаянной паники. „Время такое, что надо скорей складывать чемодан и—куда глаза глядят“, говорил он. Но вовсе не был он трусом. В московской газете „Вертоград“ он помещал статьи довольно рискованные и в своем „Апокалипсисе“ обнаружил не малое бесстрашие. Осенью 1918 г., бродя по Москве с С. Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: „Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно“. Придя в московский Совет, он заявил:

„Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я—монархист Розанов“. С. Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрашивал его замолчать, но тщетно.

Что бы ни творилось в России—он любил Россию, любил страстной, ненасытной, преданной любовью. Не слепая это была любовь, не зоологический патриотизм: вера, вера в Россию, нежность к ней безмерная. В одном из последних писем ко мне он писал: „До какого предела мы должны любить Россию: до истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до „наоборот нашему мнению“, убеждению, голове. Сердце, сердце, вот оно. И если вы встретите Луначарского—ищите в нем тени русской задумчивости, русского странствия по лесам и горам“.

Осенью 1918 г. появилась моя книга „В. В. Розанов. Личность и творчество. Опыт критико-биографического исследования“, в которой давался краткий обзор жизни и деятельности В. В., составленный очень конспективно, разбросанно и недостаточно вдумчиво. Тем не менее, Розанов остался доволен этой несовершенной работой, а отдельные замечания, характеризующие его индивидуальность, казались ему необычайно верными и меткими. Не с целью „рекламы“, а исключительно ради выяснения того, что Розанов считал в моей статье наиболее проникновенным в отношении себя, привожу ряд выписок из писем В. В., имеющих существенное значение для уяснения самооценки писателя.

Из письма XXII-го (7 VI 1918 г.).

. . . .

...„Вы могли бы, и м. б. Вы только один могли бы вполне раскрыть мою личность в „критико-биографическом очерке“. Знаете: ведь случится, что целый век писатель получает совершенно глупые оценки себя, пока не найдет того, что немцы определили гениально словом конгениальность. Нужно заметить, что как только Вы пришли ко мне в Вырицу,

и долго мотались у забора“ и вообще я увидел в Вас такую бессмысленную (неразборчиво—Э. Г.) мямлю,—Вы что то промычав замолчали—я сейчас же подумал: „это конгениально со мною“. Я был точь в точь такой же, как Вы, и еще более Вас трусливый и застенчивый. Главное в Вас качество, которое я полюбил и привязался к нему, это, что Вы ужасно смешной и нелепый, „невообразимый“, „каких людей не бывает“, „какие люди больше не нужны на свете“, „на которых плюют и которых выгоняют“. Ну вот это мне и нужно. Это суть цивилизации. Хотя Вы больно кусаетесь (цитата из Ницше), но я предпочитаю увидеть укус от Вас, чем похвалы от другого. Но Вы должны сказать всю правду обо мне, или возможно—всю. Флоренский Вашей статьей очень заинтересован, а это теперь умнейший человек в России“.

Из письма XXIII-го (8 VIII 1918 г.).

— „Как я благодарен Вам за конкретизм, за это отсутствие невозможной подлой алгебры, которою историки и биографы покрывают не только святыню истории, но наконец и живые человеческие лица.

. . . .

Это Ваш дух, прелестный дух: сопровождать „стихами поэтов“. Как улучшился я и от Брбс., и от Верлена (стр. 37): клянусь это не я: но бедный человек: как хотелось бы и мне быть таким. И вот пусть в душе далекого потомка, Ваша биография единственная, которая будет и через 100 лет читаться, ибо по ней единственно, „что нибудь“ можно узнать о Розанове (прочие же ей-ей писали чепуху), пусть он подумает, что я: из жизни медленно тягучей создал трепет без конца (это так и есть) и еще лучше:

Je ne vois plus rien
Je perds la memoire
Du mal et du bien.

О, как это прекрасно.

. . . .

Еще, что мне „обещает в Вас"—это что Вы заметили о destinationes и о разговорах с М. П. Соловьевым: и опять заметили со всем оттенком личностей. Это так поразило меня и безумно удивило. Ведь, о чем я не писал? О всем писал. Ни за что бы Струве этого не выбрал. И Перцов только бы разве отметил, „между прочим". Я думаю и Мережковский построил бы лишь схему.

Вы же взяли это как то махровисто, рыхло, прямо указав как на главное и с тем естественным и натуральным чувством, что это, конечно, главное. Между тем и до сих пор я живу только этим.

. . . .

. . . . ноуменально важно Ваше замечание (обо мне): „ко мне вышел мелкими шажками старичек, крайне благодушного и ласкового вида. Это так и есть, в этом суть. Никогда, никогда, никогда я бы не восстал на Христа, не „отложился" от него (а я и „отложился" и восстал"), если бы при совершенной разнице и противоположности, без семенности и крайне-семенности не считал себя богаче, блаже (благой), добрее Его. Мысль о „Благости" Христа—совершенно неверна.

. . . .

Ну, вот Вы и связались ноуменально со мной. Я часто об этом думаю. Настоящий деятельный труд всегда есть и корыстный, и вообще я не люблю и не уважаю христианского безкорыстия. „Эти тихони—все врут".

Как же Вы связались „биографией обо мне" со мною?. Да ведь лишь пошлый и глупый человек возьмется за биографию абстрактно. Конечно, всякий выберет „биографию" по „себе". Что же значит это „по себе". Да и значит только то одно, что „я понимаю его", „понимаю во всем", и говорю „п. ч." в тайне свою думу говорю. Говорю все, до чего дошел мой ум, мое постижение вещей и, в тайне и глубине, всякая биография" есть „автобиография". Без этого она невозможна...

. . . .

Господь да благословит Вас в старости, как он кроме жены и детей, меня благословил в старости и Эрихом. Что может быть выше, что может быть счастливее, как еще при жизни увидать, узнать, увидеть и наконец прочесть, как ты совершенно понят и растолкован даже для других (читатели) так именно, как понимаешь сам себя. Тут даже если и будут преувеличения (я их очень боюсь), то ведь „не мало же я и трудился“. „Преувеличения поганы только „не в том стиле“ (обо мне всегда бывали именно не в том стиле“): но преувеличения в стиле „описываемого автора“ есть просто вознаграждение за труд жизни.

В. Розанов.

. . . .

Как еще у Вас глубоко проведена разница между „пошлостью“ и „цинизмом. Этого раньше мне и в голову не приходило. Вообще кое в чем я у Вас читаю, новое для себя (а мне ведь 63 года)—и это особенно отрадно. Работайте и о себе и над собою в работе надо мною. И это вполне возможно и будет самою лучшею частью Вашего труда обо мне“.

Из Письма XXIV-го (26/VIII/18).

. . . .

„Любопытно, что я (честное слово) свои письма никогда не находил интересными (болезненны, смутны, мутны), а чужие всегда находил любопытными. Как то я заглянул в Ваши, где Вы пишете об Анненском, о К. Арсеньеве, о Царском Селе—это волшебство и поэзия, (У меня вообще есть чувство В. стиля). Это главное, мне кажется, для слияния душ (Хотя в статье В., выдержка из письма к Сологубу—показалась прямо блестящею, изящною фраза моя).

Удивительно. И вообще в чужих цитациях мне ужасно нравятся мои сочинения. Прямо—изящно. И между тем положено, „прямо на бумагу“ без придумки. Ваши слова: „Его пафос разговорный—тягучий“ и т. д.

Великолепно. Это жемчужина всей статьи" *). Я потому так Вас и люблю, что Вы **угадываете** и как то передаете, **через свой стиль**".

. . . .

Из Письма XXVI-го (26/VIII/18).

. . . .

. . . . „Спасибо, родная моя и прекрасная душа. Я нашел „2-го Шперка". Да, так вот что: какое же счастье найти, в 62 года найти человека, который привязался со всею силою и горячностью к твоей душе. „Не погибла еще в России душа".

. . . .

Как это хорошо: „каждая строка, упавшая с пера писателя, обвеяна его индивидуальностью". И раньше: „**разрозненное**, но внутренно стройное и цельное творчество". Спасибо, милый, спасибо дорогой. **Как все замечено и оценено**. Именно „культурная германская работа" или „обработка" писателя. Спасибо".

Из Письма XXVII-го (29/VIII/18).

Из дневника.

„Я так счастлив, милый Эрих, что Вы обо мне пишите: это не „удовольствие", а именно счастие. К чему скрывать, лукавить. „Не нужно этого, не нужно". Это бяка.

Сейчас—перечитываю. **Лучшее** конечно—**о безволии**. Вообразите: Флоренский точь в точь мне также сказал. Я ему

---

*) В статье моей не совсем так говорится о пафосе Розанова. У меня сказано: „Пафос Розанова есть пафос неясный, грустный, томительный, как звон надтреснутого колокола" (стр. 25-ая отд. оттиска).

Розанову свойственно ошибаться в цитатах и, по забывчивости и небрежности, искажать чужие слова.—Э. Г.

тоже в Посаде, упомянул как то о своем безволии, приписывая его пороку своему („яко-бы пороку“, о котором сам же сказал). Он ответил буквально так: „Нет, Вы ошибаетесь: я очень присматривался к гениальным людям, по биографиям и пр., вообще к людям исключительно одаренным, и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою“.

„Так что это вовсе не порок Ваш, а совсем другое“. Другой раз в гостях у Александровых, где и жена моя была, он же (П. Фл.), на мое какое то замечание или воспоминание: „Это только показывает, что вы уже с детства были гениальны“. Так просто. Я изумился. Ваших слов в статье (о безволии) я бы не понял, если бы не этот предварительный комментарий Флоренского. Очевидно от этого „совпадения со своей мыслью“ он так и заинтересовался В. статьей, и достав „Литер. Изгнанников“—стал пересматривать цитаты из нее у Вас. Второе качество статьи о destinationes... Теперь, слушайте: произошло в $^1/_2$—$1^1/_2$ минуты, когда я не успел „добить папироску“. Было на Воробьевых горах. Я жил с невестою. Перед кофеем. Она готовит, я сел за табак. Причина: я в III кл. гимназии прочел: „Утилитаризм“ Д. С. Милля. И с тех пор: „какова цель человеческой жизни“—стало предметом моей мысли. „Так важно. „1-й философский вопрос“. „Как не знать человеку, зачем он живет“.

Читал Бэнтама и Мальцева: „Нравственная философия утилитаризма“. Но все положило во мне уже меньшее впечатление, чем Д. С. Милль. А, главное: я сам прожил и задохнулся над вопросом. Что „цель оправдывает средства“ (иезуиты)—это, конечно я уже решил в смысле „да“, почти с первого момента. И сознательно принуждал себя к дурному (я), если „полезно“. Ну. Теперь „миг священный“ был в сущности . . . . страшно сказать . . . . открытием элевзинских таинств, раньше чем я что нибудь о них узнал, раньше чем они, „в голову мне приходили“. Теперь это (почти уже 50 лет) я совершенно в этом уверен, хотя о

„таинствах“ уже читал много лет 40, 35, 20. Дело в том, что „кто читает о них“, тот ровно в них ничего не понимает, ища секретов, иногда неприличностей (да неприличности и есть в них). Но было лет 6 назад, я читал какую то глупую статью о них Захарова или Сахарова в „Бог.-Вестнике“. Не читал, а перелистывал. И в конце: „в таинствах ничего решительно не заключалось, так как нельзя же чем нибудь считать, что заведывающий ими жрец-мистагог, выпуская из места совершения их (Элевзис) участников, просто брал ветку дерева и как бы благословляя махал ею им вслед“. Тогда мне кинулось в ум: „Дурак, дурак ты Захаров: да жрец, взяв органическую живую ветку, а не кристал, или не стул, не табуретку (сколоченная, сделанная вещь—мои „metae“, „утилитаризм“ Д. С. Милля), вообще взяв растущее, выростающее, как бы кричал: смотрите, смотрите, не—Огюст Конт с „положительной философией“ и ослиными ушами, а—гениальный Шеллинг с natur—philosophie“. Понимаете Эрих, тогда у меня сверкнуло: да ведь все „О понимании“ пропитано у меня „соотношением зерна и из него выростающего дерева“, а в сущности просто роста, живого роста. „Растет“ и кончено. Тогда за „набивкою табаку“ у меня и возникло: да кой чорт Д. С. Милль выдумывал, сочинял, какая „цель у человека“, когда „я есмь“, „растущий“, и мне надо знать: „куда, во что (дерево) я расту, выращиваюсь, а не что мне поставить (искусственная“, „табуретка“) перед собою. Вдруг—колокола, звон, „Пасха“. „Эврика, эврика. Слово—одно: потенция (верно)—реализуется“.

. . . .

Странно: я убежден, что Вы нас знаете, что Вы при юности в сущности—старик (как я с 17 лет был „7-ми летним“ и „70-ти летним“. Ну да Вы все знаете. Ведь Вы знаете, я В. считаю ровесником себе „и таким же умным“.

Странно, что встретясь с Вами я никогда не думал, что Вы будете писать. Стихи у Вас в письмах я принимал не за

Ваши, а за чужие. Письма всегда были интересны и очень литературны; я хотел бы их в „Из жизни“...

. . . .

2 ч. „В В“: скучно, не интересно. Очень компилируете. Нужно писать „широким размахом“, чтоб писали „Вы“, а не „Вы о Розанове“, чтоб была шире личность Голлербаха“. В этом отношении б. (были) прелестны В. письма в Вырицу, и в СПБ.,—где писали именно Вы, прелестно, вдохновенно, и хотя почти обо мне и не писали, но то „накрапывание дождя о Розанове“—было прекрасно и выразительно. Вообще „Ваши письма“ интереснее „статьи обо мне“: они самостоятельные, сильные. И это от прекраснейшего качества, что Вы именно не компилятор. И держитесь своего стиля—именно — не компилятора. Самое интересное и для меня единственное ценное: разговор с М. П. Соловьевым. Как Вы заметили? Тысячи бы пропустили, все бы пропустили мимо. Вы увидели и для меня очевидно, что Вы не только прочитали „глазами“, „мелькнули“, для обязанностей биографа, но как то и передали мне все понимание (не знаю, передали ли своему читателю; ведь читатели глупы), но Вы во всем огромном об'еме оценили, поняли и раскусили, что „вовсе поле не сердца людей“ (младенец Достоевский), т.-е. между Б. и человеком, а эти именно „ягодки смородины“ и есть то поле, где яко бы Христос победил Бога, но именно только яко-бы, на самом же деле, конечно, ягодка победила Христа, и вырвет из костлявых рук Его победу, вырвет у Его Голгофы, вырвет у Его—смерти, и насадит опять Рай (Рай и Сад) из этой единой смородинки. И Весь Христос только красноречие, и красноречием кончится.

„Он страдалец“, вот видите ли, и поддел человечество на страдание. В сущности—бесконечно (и тайно) пролив страдания на голову несчастного человечества.

О подождите: Христос победил именно красноречием, но я—ухитрюсь, стану также красноречиво—побежду Христа.

Верно, верно, верно.

Устал. Целую. Обнимаю. И всегда буду обнимать, хотя бы и сердился за статью. Пишите. Вы со мной слились.

В. Р.

И письма пишите: вялые, мямлистые. Я все разберу".

* * *

За недостатком места нет возможности привести другие письма Розанова о революции, о русской литературе и др.

Кажется, никогда не писал В. В. таких содержательных, вдохновенных, пламенеющих писем, как в последние месяцы своей жизни. Цитировать их бесполезно—нужно напечатать их полностью, так они пространны и захватывающе интересны.

Невыразимою нежностью и чуткостью дышат эти письма. Горькой отравой нужды насыщены они. Голод, безнадежье, а главное — усталость, безмерная усталость (он так и писал огромными буквами „УСТАЛ", „усталость", „все устаю").

Предсмертные дни В. В. были сплошной осанной Христу. Телесные муки не могли в нем заглушить радости духовной, светлого преображения.

„Обнимитесь все, все—говорил он,—поцелуемся во имя Воскресшего Христа. Христос Воскресе! Как радостно, как хорошо... Со мной происходят, действительно, чудеса, а что за чудеса, расскажу потом, когда нибудь"...

Перед самой смертью страдания утихли. Он четыре раза причащался, по собственному желанию, один раз соборовался, три раза над ним читали отходную, во время которой он скончался, без мучений, спокойно и благостно (23 янв. ст. стиля, в среду, в 1 ч. дня).

Враждовавший с Христом, отвергавший его учение, которое, как ему мнилось, испепеляет цветы бытия, изгоняет радости жизни, Розанов умер в прекрасном противоречии с самим собою. Он, как Уитмен, мог бы сказать: „я вместителен настолько, что совмещать могу противоречия"...

Розанов не был *двуличен*, он был *двулик*. Подсознательная мудрость его знала, что гармония мира—в противоречии. Он чувствовал, как бессильны жалкие попытки человеческого рассудка примирить противоречия, он знал, что антиномии суть конститутивные элементы религии, что влечение к антиномии приближает нас к тайнам мира. Тайна любви и смерти—в противоречии. Розанов не мог умереть иначе. Радостная вера, озарившая его смертный час, раскрыла пред ним смысл Единосущности. Отошло земное. Последняя настала тишина. „Темный лик" просветлел. В несказанном сиянии предстала Вечность.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Книги и журнальные статьи В. В. Розанова.

Составленный нами список печатных трудов Розанова нельзя считать исчерпывающим. Огромное количество его статей и заметок, разбросанных в различных периодических изданиях, из коих некоторые отсутствуют даже в крупнейших книгохранилищах, не поддается полному учету. В наш список вошли только книги Розанова и наиболее значительные статьи. Будем надеяться, что совместные усилия русских библиографов доведут в дальнейшем этот список до возможной полноты. Мы даем здесь перечень книг и статей в хронологическом порядке, с 1886 г. по 1922 г.

* * *

О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания. Москва 1886, стр. 737.

Место христианства в истории. „Русск. Вестник“, 1890, январь.

Заметка о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии. „Вопросы философии и психологии“. 1890, кн. III.

Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. „Русск. Вестн.“, 1891. январь, февраль, март. апрель.

Эстетическое понимание истории. „Русск. Вестник“, 1892, январь.

Теория исторического прогресса и упадка. „Русск. Вестн.“, 1892, февраль и март.

Цель человеческой жизни. „Вопросы философии и психологии“, 1892, кн. 14 и 15.

Идея рационального естествознания. „Русск. Вестн.“, 1892 август.

Сумерки просвещения. „Русск. Вестн.“, 1893, январь, февраль, март, июнь.

Три главные принципа образования. „Русск. Обозр.“, 1893.

Свобода и вера. „Русск. Вестн.“, 1894, январь.

Как произошел тип Акакия Акакиевича? „Русск. Вестн.“, 1894, март.

Ответ г. Владимиру Соловьеву. „Русск. Вестн.“, 1894, апрель.

Что против принципа творческой свободы нашлись возразить сторонники свободы хаотической? „Русск. Вестн.“, 1894, июль.

Казерио Санто и виды на будущее в Европе. „Русск. Вестн.“ 1894, октябрь.

Афоризмы и наблюдения. „Русск. Обозр.“, 1894, октябрь.

Смысл недалекого прошлого. „Руск. Вестн.“, 1894, декабрь.

Гордиев узел. „Русск. Вестн.“, 1895, январь.

Смена мировоззрений (отзыв о книге Н. Страхова „Философские очерки“, СПБ., 1895). „Русск. Обозр.“, 1895, июнь.

Где истинный источник „борьбы века“? (по поводу книги Л. Тихомирова). „Русск. Вестн.“, 1895, август.

Культурная хроника русского общества и литературы за XIX в. „Русск. Вестн.“, 1895, октябрь.

Что выражает собою красота природы? „Русск. Обозр.“, 1895 октябрь, ноябрь, декабрь.

Две гаммы человеческих чувств. „Русск. Обозр.“, 1896, август.

Кто истинный виновник этого? „Русск. Обозр.“, 1896, сентябрь.

О символистах—письмо в редакцию. „Русск. Обозр.“. 1896, сентябрь.

Вечная память (о Н. Н. Страхове). „Русск. Обозр.“, 1896, сентябрь, октябрь.

Отрывок (из Петербургских видений). „Русск. Обозр.“, 1897 апрель.

Несколько замечаний по поводу студенческих беспорядков. „Русск. Обозр.“, 1898, январь.

Литературные очерки. Изд. П. Перцова. СПБ., 1899.

Сумерки просвещения. Сборник статей по вопросам образования. СПБ., 1899.

Религия и культура. Сборник статей. Изд. 1-е, 1899. Изд. 2-е, СПБ., 1901, стр. 264.

Природа и история. Сборник статей по вопросам науки, истории и философии. Изд. П. Перцова. Изд. 1-е СПБ., 1900. Изд. 2-е. СПБ., 1903, стр. 263.

Книги Лит. Оч. Изд. Перцова. П., 1900.

Еще о смерти Пушкина. „Мир Искусства", 1900. № 7, 8.

К лекции Вл. Соловьева. „М. И.", 1900, № 9—10.

Памяти Вл. С. Соловьева. „М. И.", 1900, № 15—16.

Случай. „М. И.", 1900. № 23—24.

Успехи нашей скульптуры. „М. И.", 1901. № 2—3.

Интересные размышления Скабичевского. „М. И.", 1901. № 6.

Звезды. „М. И.", 1901, № 8—9.

Трепетное дерево. „М. И.", 1901. № 10.

В мире неясного и нерешенного. Изд. 1-е, СПБ., 1901. Изд. 2-е, СПБ., стр. 368.

Тревожная ночь. „Северные Цветы" на 1902 г., изд. „Скорпион". Москва, 1902.

Пестум. „Мир Искусства", 1902, № 2.

Помпея. „М. И.", 1902, № 5—6.

Флоренция. „М. И.", 1902. № 7.

Концы и начала, „божественное и демоническое", боги и демоны. „М. И.". 1902. № 8,

„Ипполит" на Александринской сцене. „М. И.". 1902. № 9—10.

Счастливый обладатель своих способностей. „М. И.", 1902, № 9—10.

Гоголь. „М. И.", 1902. № 12.

Демон Лермонтова и его древние сородичи. „Русск. Вестн.", 1902, сентябрь.

Из переписки С. А. Рачинского. „Русск. Вестн.", 1902. октябрь и ноябрь.

Из переписки К. Леонтьева „Русск. Вестн.", 1903. апрель, май. июнь.

Семейный вопрос в России. (Дети и родители. Мужья и жены. Развод и понятие незаконнорожденности. Холостой быт и проституция. Женский труд. Закон и религия). С рисунками в тексте. Два тома. СПБ. 1903.

Звериное число. „Северные цветы". изд. „Скорпион". Москва, 1903.

Мимолетное. Там-же.

Мимоходом. Из случайных впечатлений. „Новый Путь", 1903, январь.

Закон и брак. „Новый Путь", 1903. январь.

Церковь прежде почившихъ и церковь живых. „Новый Путь“, 1903, февраль.

Университет и наука. „Нов. Путь“. 1903, февраль.

В своем углу (статью о юдаизме и др.) „Нов. Путь“, 1903, февраль, декабрь.

Об отмене одного католического у нас обычая. „Новый Путь“, 1903, март.

Столетие колыбели русского просвещения. „Новый Путь“, 1903. март.

О соборном начале в церкви и о примирении церквей. „Новый Путь“, 1903, октябрь.

Из истории журнальной полемики. „Новый Путь“, 1903. октябрь.

Среди иноязычных (Д. С. Мережковский). „Новый Путь“, 1903. октябрь.

Примечание к письму о. Михаила. „Новый Путь“, 1903, ноябрь.

Добрый почин священника. „Нов. Путь“. 1903, ноябрь.

Ответ прот. Орнатскому. „Нов. Путь“, 1903, декабрь.

Благодушие Некрасова. „М. И.“, 1903, № 1—2.

Чувство солнца и дерева у древних евреев. „М. И.“, 1903, № 5—9.

Среди иноязычных. „М. И.“. 1903, № 7—8.

Декаденты. СПБ. 1904. стр. 24.

Психика и быт студенчества. „Новый Путь“, 1904, январь, февраль.

Что сказал Эдип Тезею. „М. И.“, 1904. № 2.

Тут есть некая тайна. „Весы“, № 2. февраль 1904.

Место христианства в истории. Изд. 2-е. СПБ. 1904.

По поводу одного стихотворения Лермонтова. „Весы“, № 5, май. 1904.

Из старых писем. „Вопросы жизни“, 1905, октябрь—ноябрь.

Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. С приложением двух этюдов о Гоголе. Изд. 3-е, М. Пирожкова. СПБ. 1906, стр. 282.

Около церковных стен. Два тома. Т. I. СПБ. 1906, стр. 416. Т. II. СПБ. 1906. стр. 497.

Мѣстото на хрістіанството въ историята. Прѣводъ на болгарскій язык от Русски подъ редакцията на Д. Божков. Пловдин. 1906.

Египет. „Золотое Руно“. 1906, № 5.

Одна из русских поэтико-философских концеиций. „З. Р.“, 1906, № 7—9.

Заупокойная месса Ст. Пшибышевского. „З. Р.“, 1906. № 7—9

Послесловие к комментарию „Легенды о Великом Инквизиторе“, Ф. Достоевского. „З. Р.“, 1906. № 11—12.

Ослабнувший фетиш. (Психологические основы русской революции). СПБ. Изд. М, Пирожкова. 1906. стр. 24.

Гермес и Афродита. „Весы“, № 5. 1909.

Литературный Отдел. (О книге А. Л. Волынского „Ф. М. Достоевский“). „Критик. Обозр.“ 1909, вып. V, сентябрь.

Журнал Театрально-Литературно-Художественного Общества, 1909. (статьи Розанова).

Итальянские впечатления. (Рим. Неаполитанский залив. Флоренция. Венеция. По Германии). СПБ. 1909. стр. 318.

Русская Церковь. (Дух. Судьба. Ничтожество и очарование. Главный вопрос). СПБ. 1909. стр. 39.

То же. Перев. на немецкий язык в сборнике „Russen über Russland“, Франкфурт на Майне.

То же. Перевод на итальянский язык. Милан.

Поездка в Ясную Поляну. Международный Толстовский Альманах. „О Толстом“. изд. „Книга“, Москва, 1909.

Предисловие к „Песне Песней“ Соломона, перев. А. Эфроса, изд. „Пантеон“, СПБ., 1910.

Когда начальство ушло . . . (1905—1906 г.г.), СПБ. 1910, стр. 420.

Смерть . . . и что за нею. Альманах „Смерть“, изд. „Нового журнала для всех“. СПБ. 1910.

О самоубийствах. В сборнике „Самоубийство“, изд. „Заря“, Москва, 1911.

Темный лик. Метафизика христианства. СПБ. 1911, стр. 285.

Л. Н. Толстой и русская церковь. СПБ. 1912, стр. 22.

Уединенное. Почти на праве рукописи. Изд. 1-е. СПБ. 1912, стр. 300. Изд. 2-е. Петроград. 1916, стр. 154.

О подразумеваемом смысле нашей монархии. СПБ. 1912.

Библейская поэзия. СПБ. 1912, стр. 39.

L'Eglise Russe, Traduit avec l'autorisation de l'auteur par N. Limcut Saint Jean et Denis Roche. Paris. 1912.

Из церковной и божественной жизни. „Богословский Вестник“, 1913, III.

Литературные изгнанники. Том первый. (Н. Н. Страхов Ю. Н. Говоруха-Отрок). С портретом Н. Страхова. СПБ 1913, стр. 531.

Люди лунного света. Метафизика христианства. Изд. 2-е, СПБ. 1913. стр. 297.

Смертное. Домашнее в 60 экземплярах издание. СПБ., 1913, стр. 66.

Опавшие листья. Т. I, СПБ. 1913, стр. 526
Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине. В книге „Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову", СПБ. 1913, стр. 183.
В соседстве Содома. (Истоки Израиля). СПБ. 1914, стр. 20.
Среди художников. (С портретами), СПБ. 1914. стр. 499.
Европа и евреи. СПБ. 1914, стр. 38.
Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПБ. 1914.
Ангел Иеговы у евреев. (Истоки Израиля). СПБ, 1914, стр. 24.
Апокалипсическая секта. (Хлысты и скопцы). СПБ, 1914. стр. 207.
Предисловие к „Студенческому сборнику". изд. „Вешние Воды", Петроград, 1915.
Война 1914 года и русское возрождение. Петроград, 1915. стр. 234.
Опавшие листья. Короб второй и последний. Петроград. 1915, стр. 516.
В интеллигентном угаре. „Студенческий Сборник". изд. „Вешние Воды", Петроград. 1915.
Кто и за что дерется в теперешней войне? Там-же.
Открытое письмо Вере Воскресенской. „Вешние Воды", т. VII, 1915.
Из жизни, исканий и наблюдений студенчества (письма студентов с примечаниями В. В. Розанова). „Вешние Воды", т. IV, 1914, т. V—VI, 1915, т. VII, 1915, т. VIII—IX, 1915, т. X, 1915, т. XI—XII, 1915, т. XIII—XIV, 1916, т. XVI—XVII, 1916.
Левитан и Гершензон. „Русский Библиофил", 1916.
Примечания к письмам Э. Голлербаха. „Вешние Воды", т. XVI—XVII. 1916.
Цензура. „Вешние Воды", т. XVI—XVII. 1916.
Еще из оценок и предвидений Ф. М. Достоевского. Там-же.
На экзамене учениц школы Исаченко-Соколовой. Там-же.
Из книги, которая никогда не будет написана. В сборнике „Стрелец", книга вторая, изд. А. Беленсона, Петроград, 1916.
Из восточных мотивов. Вып. 1—3. Петроград, 1916—17 г.г. стр. 95.
Памяти Владимира Францевича Эрна. „Вешние Воды", т. XXII, 1917.
Апокалипсис нашего времени. Вып. 1—10, Сергиев Посад. 1917—1918, стр. 148.
Апокалипсис нашего времени. Рассыпанное царство. „Вертоград", (Москва). № 1. 4, III. 1918.

Запущенный сад. Гоголь и Петрарка. „Книжный Угол“, № 3 1918. Изд. „Очарованный Странник“.
Солнце. Таинственные соотношения колебания мира. „Книжный Угол“. № 4. 1918.
Из последних листьев. Апокалиптика русской литературы. „Книжный Угол“, № 5. 1918.
Последние листья. (Из тайн Христовых. Космогоническая разрыв-трава“. Тайна в музыке песнопений). „Книжный Угол“, № 6. 1919.
Последние мысли. „Летопись Дома Литераторов“, № 8—9. 25. II. 1922.
Письма Э. Голлербаху (два письма от 26/VIII. 1918). „Летопись Дома Литераторов“. № 8—9, 25. II. 1922.
Письма Э. Голлербаху. (XXIII-е. XXV-е, XXX-е). Литературное приложение к газете „Накануне“, (Берлин). № 3, 14. V. 1922.
Письма Э. Голлербаху. (Четыре письма—9/V. 18; 26/VIII. 18; 6/X. 18 и 26/X. 18). Сборник „Стрелец“. изд. А. Беленсона. СПБ. 1922

Литература о Розанове.

И. Я. Абрамович. „Новое Время“ и соблазненные младенцы (отд. глава о Розанове). Петроград. 1916.
Александр Амфитеатров. „Богословы!“ (По поводу беседы В. В. Розанова с епископом Гермогеном). В книге „Ау“; изд. „Энергия“, СПБ., 1912.
Его-же. „Дворянин“ Достоевский (Заметки по поводу суждения Розанова о „Бесах“). В книге „Властители дум“, изд. „Просвещение“, Петроград.
Ник. Ашешов. Позорная глубина (Об „Опавших листьях“. т. II), „Речь“, 1915, август.
А. Беленсон. Подозрительные темы. В книге „Искусственная жизнь“, Петербург, 1921.
Н. А. Бердяев. О новом религиозном сознании (о Розанове в связи с Мережковским, в книге „Sub specie autoritatis“. СПБ., изд. Пирожкова, 1907.
Его-же. Христос и Мир. Ответ В. В. Розанову. В книге „Духовный кризис интеллигенции“. СПБ., 1910.

Его-же. О „вечно-бабьем“ в русской душе. (По поводу книги В. В. Розанова „Война 1914 г. и русское возрождение“, в книге „Судьба России“), изд. Лемана и Сахарова, Москва, 1918.

В. Бородаевский. О трагизме в христианстве. „Русск. Вестн.“, 1903, февраль.

Волжский. Мистический пантеизм В. В. Розанова. „Новый Путь“, 1904, декабрь.

Его-же. Мистический пантеизм В. В. Розанова (продолжение). „Вопросы жизни“, 1905, январь, февраль, март.

Его-же. Мистический пантеизм В. В. Розанова, в книге „Из мира литературных исканий“, С.-Петербург, изд. Д. Жуковского, 1906.

А. Волынский. Фетишизм мелочей. „Биржевые Ведомости“, 1916. 26 и 27 января.

Н. Глебов. Около проблемы пола. „Журнал Журналов“, № 15, 1915 г.

Э. Голлербах. Письма В. В. Розанову (семь писем 1915 года). „Вешние Воды“, т. XVI — XVII, 1916 г.

Его-же. В. В. Розанов. Личность и творчество. Опыт критико-биографического исследования, ч. I. „Вешние Воды“, т. XXXI—XXXII, 1918. январь—февраль.

Его-же. В. В. Розанов (шарж). Там-же.

Его-же. В. В. Розанов. Личность и творчество. ч. II. „Вешние Воды“. т. XXXIII — XXXIV, 1918. март — апрель.

Его-же. В. В. Розанов. Личность и творчество (Отдельное издание). С портретами В. В. Розанова и автора. со статьями М. М. Спасовского и Л. А. Мурахиной и девятью письмами Розанова Голлербаху, изд. „Вешние Воды“, Петроград, 1818, стр. 50.

Его-же. Памяти В. Розанова. (1856—1919). „Жизнь Искусства“, № 105, 27/III, 1919.

Его-же. Посмертное письмо В. В. Розанова. „Вестник Литературы“, № 5, май, 1919.

Его-же. Завет Розанова. „Жизнь Искусства“, № 142, 21/V, 1919.

Его-же. Посмертные письма В. В. Розанова. „Вестник Литературы“, № 6, июнь, 1919.

Его-же. О двуликом (Воспоминание о В. В. Розанове). „Вестник Литературы“, № 3, август, 1919.

Его-же. Из предсмертных писем В. В. Розанова. Там-же.

Его-же. Думы закатные (Памяти В. В. Розанова). В сборнике „Чары и Таинства“, Петербург, 1919.

Его-же. Заметка о Розанове к главе „Создания и природа искусства". (стр. 21). „В зареве Логоса", Спорады и фрагменты, Петербург, 1920.

Его-же. Из воспоминаний о В. В. Розанове. „Новый Путь" (Рига). № 306, 9/II, 1922.

Его-же. Воспоминания о В. В. Розанове (К трехлетию со дня смерти). „Летопись Дома Литераторов", № 8—9, 25/II, 1922.

Его-же. Предисловие к письмам В. В. Розанова. „Накануне" (Берлин), № 6, 1/IV, 1922.

Его-же. „Апокалипсис" Розанова. „Новая Русская Книга" (Берлин), № 4, апрель, 1922.

Его-же. Предисловие к письмам Розанова. Литературное приложение к газете „Накануне", № 3, 14/V, 1922.

Его-же. Памяти В. В. Розанова. (Стихотворение) „Сполохи" (Берлин), № 7, май, 1922.

Русская философия и ее судьба. „Новая Русская Книга" (Берлин), № 5, май, 1922.

Влад. Соловьев и Розанов. „Стрелец", сборник третий и последний, Петербург, 1922.

Б. Грифцов. Три мыслителя. В. Розанов. Д. Мережковский. Л. Шестов. Изд. В. М. Саблина, Москва, 1911.

Н. Губер. Силуэт Розанова. „Летопись Дома Литераторов", № 8—9, 25/II 1922.

Л. Гуревич. Приближение кризиса (о статье В. Розанова в альманахе „Смерть" и др.).—„Литература и эстетика". Изд. „Русская Мысль". Москва, 1912.

Дюруа. На Олимпе недавнего прошлого. III. В. В. Розанов. „Новый Вечерний Час", 1918, 22 июня.

В. Жирмунский. Отзыв о брошюре Викт. Шкловского „Розанов". „Начала", № 1, 1921, Петербург.

Проф. А. Заозерский. Странный ревнитель святыни семейного очага. „Богословский Вестник", № 1, 1902.

Записки Религиозно-Философских Собраний в СПБ. „Новый Путь", 1903, 1904 (доклады Розанова и полемика с ним).

Иванов-Разумник. В. В. Розанов. В книге „Творчество и критика", изд. 1-е, „Прометей", Петербург, 1912, изд. 2-е, „Колос", Петербург, 1922.

А. Е. Кауфман. Еще два слова о Розанове. „Вестник Литературы", № 6—7, 1921.

Проф. П. П. Кудрявцев. К вопросу об отношении христианства к язычеству. По поводу современных толков о браке. „Труды Киевской Духовной Академии", № 2, 1903.

Я. К. Розанов, Вас. Вас. Статья в „Энциклопедическом словаре“ Брокгауза и Эфрона.
Н. О. Лернер. Отзыв о книге Э. Голлербаха, „В. В. Розанов. Личность и творчество“. „Книга и Революция“, 1921, № 7.
Лукиан (С. Любош). „Очереди“ (по поводу „Опавших листьев“). „Биржевые Ведом.“, 1915, 12 октября.
Его-же. Розановщина. „Бирж. Ведом.“, 1916, 7 мая.
Его-же. Розанов или пакостник. „Биржевые Ведомости“, 1916, 26 мая.
Д. А. Лутохин. Воспоминания о Розанове. „Вестник Литературы“, № 4—5, 1921 г.
С. Любош. В. В. Розанов на изнанку (по поводу посвященной его памяти книги). „Вестник Литературы“, № 12, 1919.
Д. С. Мережковский. О новом религиозном действии (открытое письмо Н. А. Бердяеву). Собр. сочин., изд. Вольфа, т. XI.
Его-же. Страшное дитя (о К. Леонтьеве и В. Розанове), в книге „Было и будет“. Дневник 1910—14, изд. Сытина, Петроград, 1915.
Его-же. Розанов. „Было и будет“, Петроград, 1915.
О. Михаил. Письмо в редакцию „Нового Пути“ (о Розанове). „Новый Путь“, 1903, ноябрь.
П. Мокиевский. Обнаженный нововременец (об „Уединенном“ и „Опавших листьях“). „Русск. Записки“, 1915, сентябрь.
М. Моравская. „Я не хочу истины, я хочу покоя“ (В. Розанов). Стихотворение. „Современник“, октябрь, 1914.
Ал. Ожигов, (Н. П. Ашешов). Вместо демона—лакей (В. В. Розанов). „Современник“, 1913, июнь.
Прот. Орнатский. Письмо в редакцию „Нового Пути“: „Новый Путь“, 1903, декабрь.
В. Полонский. Исповедь одного современника. „Летопись“, 1916, февраль.
Л. П. Брак или девство? (по поводу статей Розанова о юдаизме). „Новый Путь“, 1903, ноябрь.
Э. Радлов. Розанов, Вас. Вас. Заметка в „Философском Словаре“, изд. Лемана, М.
Н. Н. Русов. Золотое счастье, роман (стр. 46—54). Изд. „Труд“, Москва, 1916.
Его-же. Розанов и Достоевский. Лит. прил. к газ. „Накануне“, № 82, 16/VII, 1922.

А. Скалдин. Затемненный Лик (по поводу книги В. В. Розанова „Метафизика христианства"). „Труды и дым", 1913, кн. 1—2, изд. „Мусагет", Москва.

Влад. С. Соловьев. Порфирий Головлев о свободе и вере (по поводу статьи В. Розанова „Свобода и вера"). Собрание сочинений, второе издание, СПБ., 1914, том шестой.

Его-же. Конец спора. Там-же.

Его-же. Особое чествование Пушкина (по поводу статьи В. Розанова). Собрание сочинений, второе изд., СПБ., 1913, том девятый.

Мих. Спасовский. Отзыв об „Апокалипсисе нашего времени" (вып. 1 и 2). „Вешные Воды", 1918, январь—февраль.

Н. Стародум. Отзыв о журн. „Новый Путь", „Русск. Вестн.", 1903, ноябрь.

Стародум (Н. Я. Стечкин). Опять о г. Розанове. „Русск. Вестн.", 1903, декабрь.

Ник. Ставрогин (Н. Н. Вишняков). Богоборчество и христоборчество. „Новый Вечерний Час", 1918, 26/IV, 9/V, № 75.

А. С. Суворин. Письма к В. В. Розанову. СПБ., 1913, стр. 183.

Тиун. Голый Розанов. „Бирж. Ведом.", 1915, 16 августа.

Л. Троцкий. Вне-октябрьская литература (о канонизации Розанова). „Петроградская Правда", № 212, 21 сентября 1922.

Л. Н. Толстой. Переписка с Н. Н. Страховым (в ней говорится о Розанове). „Толстовский Музей", т. II, СПБ., 1914.

Д. В. Философов. В. В. Розанов. („Около церковных стен", т. I и II, СПБ., 1905—1906), в кн. „Слова и Жизнь", С.-Петербург, 1909.

Его-же. Мимоходом. „Речь", 1916, 20 февраля.

Л. Фортунатов. Гнилая душа. „Журнал Журналов" № 15. 1915.

В. Ховин. Розанов умер. „Книжный Угол". № 6, 1919, изд. „Очарованный странник".

Его-же. На одну тему. Сборник статей (Не угодно-ли-с! В. В. Розанов и Маяковский). СПВ., 1922.

Иван Чернохлебов. В. В. Розанов и война. „Голос Жизни", 1915, № 16.

В. Чешихин-Ветринский. „Свой Бог“ Розанова (страница из его автобиографии). Сб. „Утренники“, кн. I, СПБ., 1922.

К. Чуковский. Открытое письмо В. В. Розанову. „Книга о современных писателях“, изд. „Шиповник“, СПБ., 1914.

Его-же. Розанов и Уот Уитмэн. „Петроградское Эхо“, 1918, 29 марта.

Его-же. Уот Уитмэн. 4-е исправл. и дополн. изд. Петрогр. Сов. Раб. и Красн. Депутатов, 1919. (Параллель между Уитмэном и Розановым, стр. 47—50).

Д. Шестаков. Отзыв о книге В. В. Розанова „Природа и история“, (СПБ., 1900). „Мир Искусства“, 1900, т. IV.

Виктор Шкловский. Розанов. Из книги „Сюжет, как явление стиля“, изд. „Опояз“ Петербург, 1921.

Joseph FLOCH, Maître-Imprimeur à Mayenne 16-2-1976 – nº 5555

Printed in France

НОВАЯ СЕРИЯ ПЕРЕИЗДАНИЙ

В эту серию войдут книги литературного, общественного и религиозно-философского содержания давно распроданные, а вместе с тем, по значению своему и качеству, необходимые широкому кругу читателей.

1 — К. МОЧУЛЬСКИЙ — Духовный путь Гоголя. (с издания YMCA-PRESS, Париж 1934), 150 стр.

2 — В. ХОДАСЕВИЧ — Некрополь (с издания Брюссель 1939), 280 стр.

3 — Э. ГОЛЛЕРБАХ — В. В. Розанов (с издания Петроград 1922), 112 стр.

4 — М. ЦВЕТАЕВА — После России (1922-1925). Стихи. (с издания Париж 1928), 160 стр.